

Г Р А Н И
БИБЛИОТЕКА

Вл. Корнилов · «Каменщик, каменщик...»

Вл. Корнилов
**«КАМЕНЩИК,
КАМЕНЩИК...»**



Вл. Корнилов

«Каменщик, каменщик...»

ПОСЕВ

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1980
Frankfurt/Main
Printed in Germany

На семьдесят втором году Чёлышев жалостно на-поминал мальчишку. Тощий, невысокий, он даже обижался невзросло, от чего седой хохолок петушился на темени.

— Ты, Пашет, злиться не умеешь и не пробуй, — смеялась Женя, вторая жена старика. Она была много моложе Павла Родионовича, он ее обожал, но вбил себе в голову, что Женя непременно его бросит. Не сегодня-завтра заскочит к некоему удачливому сослуживцу и останется навечно. Женя очаровательна, Женя умница. Он же, Чёлышев, и раньше-то считался заурядсубъектом, а теперь и вовсе нуль — пенсионер с Бог знает каким стажем.

Каждое утро, едва за женой захлопывалась дверь, старика душил страх неминуемого сиротства. Под вечер предчувствие обращалось в уверенность: все кончено, жена не вернется, жить незачем...

Проходил час, другой, третий. Старик, словно наказанный ребенок, упоенно воображал себя покинутым, тяжелобольным, даже мертвым, и Женя потом долго выволакивала его из этого печального заперделя.

— Ну что ты?.. Ну, задержалась... Я ведь советская замотанная женщина. Москвичка. Утром не хочу идти на работу, а вечером — домой.

— Не смешно, — морщился Чёлышев, но как-то стихал до утра.

Сегодня была суббота. Женя осталась дома, но старик все равно ожидал подвоха. И впрямь — после завтрака она, раскрыв на секретере пишу-

щую машинку и распухшие, неопрятного вида тетради, сказала, как отсекала:

— До двух не надоедай.

„Гришку перепечатывать будет”, — догадался старик.

Гришка, Григорий Яковлевич Токарев, его зять, был писатель, точнее — критик.

Но машинки и тетрадей Жене показалось мало. Бережно, словно хотела украсить комнату, она поставила на верх секретера стопку книг в мягких и жестких обложках.

„Их-то зачем?..” — помрачнел старик и побрел в кухню, надеясь отвлечься по хозяйству, но все — от мойки до белых полок сияло, как в день въезда. С домашней работой Женя расправлялась мгновенно.

— Пашет, займись чем-нибудь и не изображай страдальца, — сказала жена. Чельшев притворился было, что не слышит, но, не выдержав одиночества, вернулся в комнату и спросил:

— Что, машинистки найти не мог твой Токарев?

— Это нельзя отдавать на сторону, — улыбнулась Женя и, несмотря на седину и дымчатые очки, показала Чельшеву такой же, какой он встретил ее в год Победы. Обидевшись, что улыбка жены обращена не к нему, а к зятю, старик сокрушенно махнул рукой и стопка книг полетела на пол.

— Сядь. Не мельтешишь. Ну вот, помял...

Опередив мужа, Женя подняла книги.

— Я их собрала для Надюхи.

Надька, сестра чельшевского зятя, подруга Жени, жила в Нью-Йорке.

— Но это макулатура для утильной палатки! — сказал старик.

— Так считаем ты и я, — неохотно согласилась Женя. — А Надюхе приятно прочесть на супере „Гр. Токарев”.

— Сам пусть доставляет ей такую приятность!

— Пашет, перестань. Отлично знаешь: он тридцать лет скрывал, где сестра. У него, помимо Надьки, куча неприятностей: все статьи отвергают. А начнет переписку с Америкой, сразу смекнут: решил уехать...

„Себя бы поберегла, — подумал Чельшев. — Гришке-то чего спастись? Вольная птица... А ты, как пришитая, сидишь в лаборатории. Вот вышвырнут оттуда за Надюху и уж точно никуда не возьмут. Биография подпорченная и все-таки возраст...” Но вслух он сказал:

— Нечего Токареву тебя эксплуатировать.

— Никакой эксплуатации! Сама вызвалась.

— И напрасно. Лупишь без роздыха. Сердце поберегла б.

— Печатаю, как привыкла. А сердце в порядке.

Женя ждала, что старик напомнит ей о стенокардии, и тогда она возразит, что до пенсии все равно должна работать. Но он промолчал, и Евгения Сергеевна примиряюще улыбнулась:

— Я, Пашет, в полном здравии. И потом — это хорошие мемуары. Ты бы тоже прочел. Он, кстати, тебя упоминает и Варвару Алексеевну...

Варвара Алексеевна, первая жена Чельшева, нынче умирала от рака.

— Уж тещу свою мог бы оставить в покое... — рассердился старик и принялся ходить по комнате, надеясь отвлечь жену от машинки.

— Пашет, я просила: чем-нибудь займись, — не выдержала Женя.

— Занят. Смотрю, как размножаешь сплетни и пакости.

Женины пальцы повисли на клавишах, глаза за дымчатыми стеклами замигали.

— Прежде чем обижать, прочел бы...

— Читал твоего Гришку. Ничего, кроме благоглупостей, не выудил.

— Но это совсем другое: не критика, а воспоминания. Талантливые воспоминания.

— Расхваливаешь так, словно сама их написала. Вы что — сиамские близнецы?

— Не стыдно, Пашет? Он муж твоей дочери...

— И твой любовник! — вспыхнул старик и тут же перепугался.

— Нет, это невыносимо. Отлично знаешь: ничего между мной и Токаревым не было. Бедный Пашет... Тебе надо было жениться на настоящей, на естественной женщине. Она всю жизнь посвятила бы тебе. А я себя не переделаю.

— И любишь Гришку!

— Опомнись. Я лишь похвалила его рукопись. За что мучаешь? Тебе ведь столько *меня* не надо...

Павел Родионович похолодел, решив, что жена намекает на его стариковскую немощь.

— Не нужна я тебе *вся*. Оставь *меня* для самой себя немного.

„Ну вот, голова разболелась... Испортил рабочее настроение. Несчастный, ненормальный старик, — огорчилась Женя. — То сходит с ума, что я где-то шлёндраю, а дома сидишь — тоже нет покоя. Прямо хоть встань и снова куда-то беги. Чем ему мешали мемуары Токарева? Так хорошо было за этой чужой машинкой отвлечься от служебных интриг и окунуться в треклятое прошлое...”

Но тут Евгения Сергеевна подумала, что и она сама ненормальная.

„Определенно ненормальная, — будто перед зеркалом потрянула головой, от чего косая с проседью прядь молодо коснулась щеки. — Ну что я так приклеилась к давно прошедшему? Тридцать лет, как вышла из лагеря, а все не могу забыть. Или боюсь

забыть? Почему так накидываюсь на зэчьи мемуары, словно настоящая жизнь была только в зоне?! Или у меня с Пашетом не задалось, и я бегу туда, где Пашета не было? Старый брюзга и склочник стал невозможен. Чего мне только ни приписывает! Очевидно, подозрительность приходит с возрастом... Что ж, так бы и сказала, что убегаешь не от Пашета, а от близкой старости. И читать любишь о лагерях и арестах, потому что они — твоя юность. Все очень просто: ты самая ординарная трусиха... Неправда! — чуть не вскрикнула вслух. — Я не трусиха и не мазохистка. Разумеется, моя жизнь не удалась. Но у кого она удалась в наше раздерганное время?..”

Женя и дальше изводила бы себя внутренней перепалкой, но тут старику надоело гадать, отчего жена не стучит на машинке. Он заковылял к двери и буркнул у порога:

— Съезжу, Варвару Алексеевну проведу.

С тех пор, как всю в метастазах Варвару Алексеевну выписали из клиники, старик, словно на службу, приезжал к своей дочери, где лежала больная, с деньгами, кислородными подушками, раздобытыми Женей болеутоляющими ампулами и сваренными Женей протертыми супами и кашами. Однако сейчас он страдал не из-за того, что угасала первая жена, а оттого, что вторая перепечатывала рукопись зятя.

— Но ты сегодня не собирался! Сегодня я дома.. — сказала Женя.

— Ты вон где... — кивнул Челышев на расхристаные тетради и выбежал к лифту.

— Пашет, милый, разве я нарочно!

Женя кинулась на лестничную площадку и втащила закапризничавшего старика в комнату.

— Разве я хочу с тобой разлучаться? Да я с радо-

стью взяла бы тебя туда. Ты сам туда не хочешь. Ну прочти. Что тебе стоит? Токарев, правда, пишет не о лагере, но о тех годах. Что поделаешь, мне они дороги. Хотя бы полистай. Очень важно, что скажешь.

Растерянный Павел Родионович позволил подвести себя к тахте, послушно принял у жены стопку страниц, вздел на нос очки и сам же удивился своей столь поспешной капитуляции.

ПОПЫТКА БИОГРАФИИ

За нашим забором плакала красивая девочка. Мне исполнилось восемь лет. Я жил в отдельном особняке. У меня был голубой, единственный во всем городе японский велосипед. Я дружил с командующим гарнизоном дядей Августом. Но я был несчастным мальчуганом. Даже носил не отцовскую партийную и почти русскую, а материнскую местечковую фамилию — Токарь...

... Маша Челышева стояла за нашей ажурной решеткой, а ее хмурый отец дергал девочку за руку. Мне хотелось сказать Маше: „Возьми велосипед насовсем”.

Мне многое хотелось ей сказать, но рядом был ее родитель, который меня презирал. (Он и сейчас меня не выносит, хотя от моего отца не осталось даже петитной строки в Исторической энциклопедии. А я Пашета люблю...)

У нас была странная семья. Моя мама, Дора Исааковна, родилась на шесть лет раньше отца, прежде него вступила в партию, но должность занимала маленькую: инспектор горнаробраза. Она презирала отцовский паккард, обедала в учительской столовке и все порывалась перебраться к своей горбатой сестре, белошвейке Юдифи.

— Хоть к черту! — кричал отец. — Но детей (то есть — меня и Надьку) не получишь!

Дело у них шло к разрыву. У отца начался роман с русоволосой пышной красавицей Ольгой, секретарем левобережного райкома. Ольга больше подходила к особняку и ко всему стилю отцовской жизни. А мама, увядшая, истеричная, мало годилась в хозяйки большого индустриального города.

Иногда мы с сестрой ездили к тетке Юдифи. Юдя жила на самой окраине в бедной мазанке. Ничего у нее там не было. Воду из колонки надо было тащить за три квартала, а щелястый сортир был в соседнем дворе, где паслись козы, копошились свиньи и печально отбивалась от мух корова начальника милиции. Шпанистые пацаны с Юдиной улицы не верили, что я дружу с комдивом и могу их привести в казармы, где нам дадут разобрать „максим” и покачают на тачанке. Пацаны, если рядом не было взрослых, дразнили меня „жидом” и вертели ножи у моего носа.

А вот Надьке еврейство не мешало. С Надькой всегда было весело. Она примиряла не только отца с мамой, но и меня со всеми несправедливостями нашей жизни. Скажем, особняк, автомобиль, прислуга, электрические импортные игрушки, что дали мне в горькоме на октябрьских и майских утренниках... Все это не слишком правильно. У других ребят ни прислуги, ни машины — одно коммунальное жилье. А на утренниках — кульки с липкими подушечками...

— Ну и что, Кутик? — поднимет круглые плечи Надька. — Значит, так надо. Дали и радуйся.

— Но у других...

— Другие столько до революции не страдали. Нашу маму били в полиции.

— Но мама не ездит в паккарде.

— При чем здесь мама? Пойми, если всего у всех будет поровну, никто ни работать, ни учиться не станет. Ты, Кутик, сознательный, а несознательным надо показать, чего добьешься, когда не жалеешь себя и трудишься для народа.

— Но мама...

— Мама с чудинкой.

Так-то мы и жили. Я огорчился, что Пашет водит Машу в детский сад ИТР (инженерно-технических работников) другой дорогой, и радовался, когда она шла со своим дедушкой. Старого доктора Маша всегда тащила к нашему дому.

Однажды, заболев, я настоял, чтобы позвали не горкомовского, а частного врача, моего однофамильца Токаря.

— Та з нього писок сыплетця. Сильский ликар навить краще, — хмыкнул отец, считавший „украинську мову” более народной.

Доктор Токарь обстукивал меня холодными костяными пальцами, а мне было приятно: ведь это Машин дед.

— Впечатлительный он у вас господин, — нахмурился доктор и повернулся не к отцу и маме, а к Юде. — Бромчику попить не мешает.

— Та они, Токари, уси таки, — засмеялся отец. — Мабуть, вы им родына?

— Нет, не родственник, — казалось, оскорбился доктор.

Отец вздрогнул, и мне почудилось — шепнул: „Контра...”

Ночью я плакал, и в мою комнату на цыпочках вбежала Надька.

— Обидели Кутика? Ах, глупый старик. Не знает, что Кутика нельзя обижать. А Кутенька через забор влюбился... Чепуха на постном масле. Как рукой

снимет. Еще много у Кутика будет девочек и девушек.

(Милая Надька! Она не знает в своем далеке, что по-прежнему не девочки и девушки, а одна Маша — радость и мученье моей несуразной судьбы...)

... За сестрой приударял молодой стихотворец Юз. Считалось, Юз ходит в особняк ради меня. Я тоже начал рифмовать. Но Надьке нравился другой — москвич, красавец, любимец Сталина и давний приятель мамы. В тридцать шестом году он остановился у нас. Как-то, заглянув в кладовку, куда прятал самодельный лук, я увидел сестру и нашего гостя. Она его обнимала, а он по ней, растегнутой, водил руками.

Пришла мокрая скользкая осень. Я упал с велосипеда, погнул руль, ушиб колено, и машину раньше времени убрали в чулан. Мама совсем поседела и рядом с отцом выглядела старухой. Они настолько отделились друг от друга, что даже не ссорились, и в конце ноября отец без нее уехал в Москву принимать конституцию.

Три дня мама молча ходила по дому с черным страшным лицом и вдруг тоже собралась в столицу. А затем началось непонятное. Отец без конца звонил из Москвы; туда умчалась Надька, и в особняк перебралась Юдя.

Перед первым декабрьским выходным выпал снег, и вечером в честь конституции демонстранты несли факелы. Одна колонна прошла по нашей улице, чего прежде не случалось. Я выглянул за ворота, и мне протянули сосновую палку с горящим фитилем.

— Дом сожжешь! — закричала Юдя и тут же заплакала. — Бедненький мой сироткин. Нет у тебя больше мамы. Умерла наша Дора. Из-за Яшки-бандита отравилась угаром...

Мамины похороны запомнились очень четко. Им предшествовала напряженная суэта в особняке, бесконечные перебранки Юди с охранником Петей, горничной, кухаркой и дворником. Отец, видимо, решил зарыть маму тихо, не привлекая внимания к обстоятельствам ее смерти. Юдя же настаивала на пышных похоронах. Приоткрывая дверь, я слышал, как тетка жаловалась маминим сослуживцам:

— Нарочно Дору сжег. Хочет, чтобы шито-крыто... Дудки! Дора раньше его в их бранже. Его еще в хедере цукали, а я ей в участок уже кушать носила. Не хочет музыки? Сама найму!

И вот, едва отец выходит из своего вагона, его оглушает траурный марш. Отец растерянно машет музыкантам, чтобы прекратили безобразие, но Юдя кричит:

— Не ты их нанял! Играйте, мальчики! — и, такая крохотная, вырывает у Надьки урну с овальной маминой фотографией.

Оркестранты дуют что есть мочи, а наробразовцы водружают на обмотанные кумачом носилки то, что осталось от мамы, и процессия движется по главному проспекту. Надька и Юдя идут сразу за носилками, а я и отец ползем позади всех в паккарде. Но вдруг, не доехав до еврейского кладбища, отец велит шоферу повернуть домой.

— Ничего, сироткин, ничего... — вечером утешает меня Юдя. — Мы теперь часто будем к маме ходить. От меня к ней близко. А Яшку, — кивает на полуприкрытую дверь кабинета, где отец укладывает желтый саквояж, — с собой не возьмем... Застеснялся, негодяй, что я Дору похоронила со своими... Так пусть его, босяка, с чужими кладут!

И напророчила. Утром отец отбыл на совещание в Киев, где его арестовали, а через два дня нас выгнали из особняка и даже не позволили взять вещи.

Впрочем, Юдя кое-что мамино давно перетащила в мазанку. Умудрилась даже уволочь туда японский велосипед. (Весной, стыдясь и ликуя, его купили для Маши старики Токари.)

В Юдиной мазанке не повернешься. Мне на ночь ставят „дачку” (складные козлы с мешковиной), а сестра и тетка спят на кровати валетом.

— Изверги, — вздыхает Юдя. — Сами своих мучают. Хуже петлюровцев. Ну, ничего... Не плачь, сироткин. Я тебя никуда не отдам. Руки есть, ноги есть, и Наденька теперь помощница...

Тетка никак не успокоится, что русская и украинская газеты, а также местное радио, заклеили отца разложившимся, запутавшимся в сетях польской дефензивы врагом партии и народа.

— И Дору уморил, изверг... — добавляет Юдя, но тут же смолкает, потому что официально виновной в смерти мамы признана печная заслонка, и я могу отвечать всем и каждому: мол, отец отцом, а мама умерла честной большевичкой.

— Мерзавец! Шиксу, комсомолочку захотел!..

Так Юдя называет Ольгу, хотя та до своего недавнего ареста заправляла целым районом.

— Покажут ему комсомолочку!.. А вы, детки, не бойтесь. Вы — Токари. Ты, сироткин, не выдумывай. Ты — Токарь и Яшкину кацапскую кличку забудь.

Юдя переводит меня из прежней школы в окраинную, где учиться можно спустя рукава, и я запоем читаю „Мушкетеров” с продолжениями, „Парижские тайны” и Вальтера Скотта, словом, все, что отвлекает меня от нашей горестной действительности.

Будто по злобному волшебству, особняк превратился в тесную комнатку, где с утра до вечера стучала ножная машина, галдели заказчицы и по-

всюду, отнимая у женственности тайну, громоздились необъятные панталоны, пояса и бюстгалтеры. Все переменялось — только не Надька! Надька обрывала зарвавшихся клиенток и не шикала на пацанов, когда подглядывали в сортир. („Ладно уж, глядите, малахольные, если интересно!..”) И смеялась, когда ночью Юдя толкала ее горбом. И по-прежнему отказывала Юзу, который, презрев страх, героически ухаживал за дочерью врага народа.

(Как мне не хватает Надьки и как презираю себя за то, что не пишу ей писем, хотя меня все равно не печатают!..)

Пятилетие на окраине оказалось сложным периодом жизни. Запомнился неприятный эпизод.

Весной за городом, позади еврейского кладбища, красноармейцы разбили палатки, и мимо нашей мазанки, разбрызгивая грязь, часто проскакивал автомобиль комдива.

— Эй, жиденок! — однажды крикнули мне пацаны. — Твой „даешь пулеметы”^{*} катит! Познакомь!

Я обреченно вылез на улицу и, понукаемый шпанной, закричал:

— Дядя Август! Здравствуйте, дядя Август!

Форд, объезжая широкую синюю лужу, медленно надвигался на меня. Брезентовый верх был откинут, и суровый комдив сидел неподвижно, как перед фотокамерой.

— Дядя Август, это я, Гриша...

— „Дядя Август”, выкуси накомь! — загоготали пацаны, а я, давясь плачем, убежал в мазанку. Он, сажавший меня на колени, проехал в полтора метра, не повернув головы!

Целый месяц я исходил злобой и горем, переби-

^{*} Строка из красноармейской песни: „Эй, комроты, даешь пулеметы”.

рая все варианты мщения. Потому-то, несмотря на нашу отверженность, сразу согласился пойти с Юзом на первомайский парад.

Ночью шел дождь, и утром тоже моросило, когда мы добрались до площади и скромно сели в конце гостевых скамеек. Я дрожал от холода и в прежнее время раскапризничался бы. Но теперь мне было девять с половиной лет и, чтобы переключиться, я стал критиковать развешанные вдоль площади портреты:

— Сталин совсем не похож, и у Маркса лоб кривой...

Но Юз увещевающе шептал, что кто как нарисован, обсудим позже.

Низенький круглый сверхсрочник важно прохаживался вдоль строя и без всякой жалости укорачивал ножницами шинели бойцов. Я подумал: дурацкая прихоть комдива. Ведь чем шинель длинней, тем теплее красноармейцу. „Ну ничего, тебе отплатится”, — грозился я комдиву, с нетерпением ожидая выезда его гнедой Хельги.

Наконец скамейки заполнились до отказа. Меня и Юза стеснили слева и справа, а сзади навалились оставшиеся без мест. Все заплодировали, и на трибуне появился тот, кто сменил отца, и с ним другие мужчины, среди которых я узнал только охранника Петю. Но я ожидал не их, а комдива. Мостовая была мокрая, и я тихо бормотал: „Пусть поскользнется, пусть...”

Юз, не понимая, что со мной, должно быть, уже раскаивался, что привел меня на площадь.

Грянул марш. Комдив выехал на Хельге навстречу комбригу. Его рука в перчатке изящно прижималась к козырьку, а я умолял кобылу, чтобы скинула моего обидчика. Я знал, что свалиться с лошади — позор, но не думал, что это еще и дурное

предзнаменование. Особенно сейчас, когда многих арестовывают. Но с нашей семьей все самое худшее уже случилось.

Я с ненавистью слушал, как дядя Август своим прибалтийским, прежде мной любимым фальцетом приветствовал прямоугольники обчекрыженных по его приказу шинелей. Комбриг ехал рядом, и его лошадь выказывала беспокойство. А Хельга словно слилась с комдивом, с его длинной кавалерийской, прикрывшей даже сапоги шинелью, и я понял: ничего не случится, потому что дядя Август уже подъехал к последней колонне, поздравил ее с праздником, на что ему открывали:

— ...а! ...а! ...а!

И Хельга даже не вздрогнула, лишь картинно, как в цирке Шапито, мотнула мордой. Но тут комдив круто повернул кобылу, и, хотя минуло тридцать шесть лет, я до сих пор помню, как Хельга, словно по льду, всеми четырьмя копытами проехала по брусчатке и завалилась на бок как раз против нашей скамьи.

Я обмер и тотчас пожалел комдива. Неловко подпрыгивая, как привязанная птица, он выпрастывал ногу из стремени. Два красноармейца бросились поднимать Хельгу. Дядя Август небрежно им кивнул, взобрался в седло и, поддерживая у козырька перчатку, подъехал к трибуне.

Юз решил, что мне дурно (очевидно, я позеленел), и вывел меня через толпу зрителей в примыкавший к площади сад.

Спустя месяц комдив был отозван в Москву и расстрелян вместе с Тухачевским. Да и стихотворец Юз оставался на свободе недолго...”

„Что же здесь такого талантливого? — недоумевал старик Челышев. — Нет, зря, зря она надрывается. Стучит без роздыху, словно молодая”.

Он приподнял очки и с жалостью посмотрел на Женины пальцы с коротко обрезанными ненакрашенными ногтями. „Рабочая женщина, — подумал с обидой. — И не стыдно Гришке ее загружать? Добро бы сочинил стоящее...”

И все же старика разбередили мемуары зятя, и он сам стал потихоньку ворошить пережитое.

Ему вдруг вспомнился один осенний день девятьсот четырнадцатого года.

Воротясь из училища, Пашка Чельшев быстро сжевал оставленный мамашей нехитрый обед, в миг приготовил еще по-божески заданные уроки, и короткий сентябрьский день показался мальчишке бесконечным. Никто не дергал за уши, не гонял в лавочку за папиросами, с запиской к барышне или на соседний двор занимать у докторши Токарь трешницу. А все потому, что брат Артем (от лишнего ума, как считала мамаша!) подался из Горного института в вольноопределяющиеся. Теперь, небось, в учебной команде горланит на мотив цыганской „Белой акации”:

Мы смело в бой пойдем
За Русь святую
И за нее прольем
Кровь молодую!..

Полтора месяца идет германская война, и мальчишки подбивают Пашку махнуть на позиции. Его, мол, не скоро хватятся. Отца у Пашки нету — утонул, брат в армии, а мать служит в городской управе и вечерами тоже занята. Крутится возле нее помощник нотариуса. Наверное, поженятся скоро. Конечно, неплохо бы удрать из этого хоть и губернского, а все ж таки скучного города на фронт, но, честно говоря, война отсюда далекая-далекая, как

все равно Америка, куда, сколько ни грозились, так никто с их улицы не убежал.

— Эй, Чёлый! — увидев приятеля, закричал гимназист Дрозд. Он был еще замухрышистой Пашки и, оправдывая фамилию, сидел, как птица, на заборе. — К еврею-доктору беженцев понаехало! Чмара и пацанка. Чмара — во!.. — Коська расставил руки и чуть не свалился на землю.

Соседний двор выглядел побогаче: дом был каменный и даже имелась песочница. Бездетный доктор Арон Соломонович заказал ее дворнику, чтобы малыши не простужались на голой земле. Все мамы Полицейской улицы умильно благодарили врача, но за глаза высказывались: мол, нечего жиду втирать очки православным. Известно, что мацу без дитячей крови не пекут, а хитрюга выгадывает: у больных-то младенчиков кровь жиже...

В семье Чельшевых на подобную тему тоже вспыхивали споры. Артем утверждал: вранье, давний оговор... Мать, напуганная недавним делом Бейлиса, с сыном не соглашалась. Приезжавший с левого берега брат матери, молодой священник отец Клим, посмеиваясь, держал сторону племянника. Но Любовь Симоновна не слушала брата.

— Да ты, Климка, разве поп? — ворчала она. — Все батюшки — серьезные мужчины. А у тебя на уме вечные хаханьки. Тебе бы не в храме гудеть, а по ярмаркам скоморошничать.

Перескочив на соседний двор, Пашка никаких „понаехавших беженцев” не увидел. Только в песочнице копошилась пухлая незнакомая девчушка в батистовом, но уже намокшем платице.

— Ты кто? — спросил Чельшев.

— Воня... — пропищала девочка.

— Вправду воня. У тебя что, мамки нету? Вся обдулась. Зассыха.

— Воня! Воня!.. — пролепетала девочка и замахнулась совком.

— Злющая, — сказал Коська Дрозд. — Эй, Воня-Боня, мамку покличь. Простынешь.

— Ну ее. Идем, — скривился Пашка.

Он сразу потерял интерес к беженцам. У доктора в доме ванна на фигурных лапах, а ребенка не купают. Чельшевы носят воду из колонки, но попробуй походи у мамы с грязной шеей...

— Матка, матка... — захныкала девочка.

Дверь черного хода приоткрылась и на небольшом, аккуратно оструганном крыльце выросла... девушка? — не девушка; женщина? — не женщина, а скорее ангел женского рода. Продолговатое лицо мадонны, зеленые глаза, высокая грудь, тонкая талия и крутые бедра. Выглядела она не старше гимназисток последних классов, но было в ней такое, что гимназисткам не снилось. Пашка с Косьюкой разинулы рты.

Юная, осененная сентябрьским солнцем, запоминаясь мальчишкам на всю их жизнь, беженка осторожно ступила с крыльца на землю.

„Будто воду ногой пробует“, — подумал Пашка.

Все в пятнах шелковое платье женщины, кроме духов, пахло еще чем-то греховным.

— Матка! матка! — верещала девочка, но беженка, подбирая подол, кралась по двору, надеясь, что ее не заметят.

— Матка!.. — ревела девчушка, словно догадывалась, что женщина торопится куда-то, где девочка будет ей помехой.

— Но... Цо с тобон, дзецко мое? — все-таки подплыла к ней беженка. — Не мам часу... Пше-пше... Матка Бозка...

Она подняла девочку за шиворот, подтащила к крыльцу и, сморщась, хлопнула по мокрому заднику. Но девочка почему-то не заплакала, а ползком вскарабкалась по ступенькам.

— Они не евреи, — сказал Коська Дрозд.

„Пожалуй...” — молча согласился Челышев. Евреи и вправду не лупцуют своих детей и не признают Божьей Матери, хотя Дева Мария — их племени.

— Ни-ни... Жиды, хлопчик, жиды... — вкрадчиво пропела беженка.

„Бойтся, что докторша выгонит”, — подумал Пашка.

И вдруг, словно взрослому, красавица обещающе улыбнулась:

— Довидзенья, хлопчику!

Мимолетным виденьем она исчезла за воротами, а облако странного, смешанного с духами запаха унесло осенним ветром.

В тот вечер Пашка лег рано. Мать не возвращалась. Наверное, опять со своим нотариусом сидела в кинематографе. Пашка начал клевать носом, и вдруг беженка взяла его за руку и при всех подростках спросила, может ли он перевезти ее на другой берег. Для чего это ей, Пашка не понял (ведь есть каменный мост!), но сказал: „Могу”, хотя после гибели отца на реку ходить боялся.

И вот он выводит беженку на Полицейскую улицу, а все мальчишки и Коська, как заколдованные, глядят им вслед. Лодки у Пашки нету. Лодка есть у Клима. Но Клим живет на другой стороне, ниже версты на четыре. Все-таки Пашка и женщина оказываются в лодке. Он — у весел, она — на корме, и молчат, потому что Пашка не знает, как начинают разговоры. Но вдруг красавица признается, что на тот берег ей вовсе не надо. Просто ей хочется побыть наедине с Пашкой. Здесь, на осенней воде,

никто их не тронет. А на правом и левом берегу много нехороших людей.

Вот что она говорит Пашке по-русски, но ему боязно бросить весла и перебраться к ней на корму. На реке сильный ветер. Лодка того гляди перевернется. Холод пробирает так, что ноют зубы, и, очнувшись, мальчишка замечает, что не закрыл ставни.

Кряхтя, как не кряхтит сегодня, Челышев накидывает поверх ночной рубахи черную реалюшную шинель и в незашнурованных башмаках выползает из дому. В их дворе все спят, а из докторской кухни выбилась полоска света. На крылечке, рядом с худым длинным доктором, стоит городской.

— Так вы, пожалуйста, ее разыщите. Мы с женой вас поблагодарим, — говорит доктор.

— Где ж теперь искать? Поезда каждый час проходят станцию. А еще сколько воинских эшелонов помимо расписания. Вам надлежало раньше побеспокоиться.

— Жена звонила в участок.

У доктора дома такой же телефон, как в управе у матери. И у Челышевых был свой аппарат, пока отец, не прогорев на строительных подрядах, снимал большую, в семь комнат, квартиру.

— Телефон — не бумага. Подпись не поставишь. Надо было прошение подать и карточку приложить.

— Фотографий нет. Она впопыхах бежала.

— А кем, извините, пропавшая вам доводится?

— Дальняя родня... — неуверенно отвечает доктор.

— А, случаем, не аферистка какая? Дите подкинула, а сама — шась... и ищи ее по всем вокзалам империи. Я вам так посоветую, господин доктор: отнесите девочку в приют. Мало вам своей родни? А эту

пусть окрестят, и никаких вам неудобств с ней не будет...

Но через день выясняется, что беженка бросать ребенка вовсе не помышляла. Просто торопилась на свидание. В номерах ее ждал офицер. Должно быть, познакомились в поезде или на узловой станции, куда она добралась из пограничного местечка. То ли была из влюбчивых, то ли офицер заморочил ей голову, но в гостиницу она пришла сама. Коридорный ее запомнил, но разве запрещено девице посетить военного?

А утром другой коридорный, проходя по второму этажу, почувал, что из-под двери двадцать третьего номера дует. С ночи погода переменялась, пошел дождь; постоялец же, видимо, во хмелю окна не закрыл и, смотришь, простудится.

Коридорный постучал. Ему не ответили. Тогда он спустился к конторщику, и они вдвоем вышли во внутренний дворик. Окно двадцать третьего оказалось распахнутым на обе створки, а в увядшую клумбу вбиты не съеденные дождем следы сапог.

— Зови, — вздохнул конторщик, и коридорный побежал за полицией. Дверь взломали. На железной койке лежала обнаженная красавица с чулком на шее. Ее живот и бедра были залиты кровью. Следствие установило, что маньяк исковырял несчастную шашкой и вытер клинок о валявшееся на коврике обтерханное платье.

Так писали местные „Ведомости“, и Пашке долго снилась беженка, правда, не голая, но всегда окровавленная. Он даже решил, что красоте непременно сопутствует жуть убийства и тайны. Этот страх сохранился в Чельшеве надолго, пожалуй, навечно, и спустя тридцать, сорок, даже пятьдесят лет он опасался, что кто-нибудь прирежет его дочь.

... Меж тем Артема производят в прапорщики. Он получает одного Георгия, второго, а мать все не выходит замуж. И вдруг батальонный командир собственноручно уведомляет Любовь Симоновну, что ее сын Артем Родионов Челышев пал смертью храбрых. Мать молчит, ходит в свою управу, но нотариус больше у них не засиживается. И однажды Пашка видит, что его мамаша — уже не молодая и вовсе не суровая. Неожиданно на первого осеннего Павла привела во двор за руль (как козла за рога!) взаправдашний, хотя не новый, велосипед. И глаза у матери такие настороженные, словно боится, что второй сын тоже убежит на войну. Месяц Пашка гоняет по всему городу. Но вот на окраинной улочке мальчишки ссаживают его с велосипеда, протыкают покрышки, выдирают спицы, уродуют передачу. Пашка отбивается велосипедным насосом, а когда вырывают насос, ребром ладони расшибает двоим пацанам носы и притаскивает на Полицейскую железного калеку. Ему стыдно перед матерью, по, полагая, что постиг законы человеческой зависти, он злится не на мальчишек, а на Любовь Симоновну и себя:

— Стегайте! Что мне ваш ремень? Спасибо, живым остался. А убили бы — тоже по-честному вышло б. Нечего задаваться. Не по чину нам велосипед!

— Ох, старый ты, Пашка, — удивляется мамаша. — Прямо мудрец-философ...

Теперь она норовит вечерами сготовить что повкусней. Но Пашка уже сам по себе. Пусть мать пьет втихомолку портвейн или кагор и потом судачит на крылечке с соседками, будто она такая же... Время стоит скучное. Разве что царь по дороге в Ставку проедет через город. Хотя вокруг автомо-

бия столько казачья, что самодержца не разглядишь.

Но вот в марте студенты схватываются с городскими, сжигают часть, и объявляется полная свобода. Все цепляют красные банты, и с бульварных тумб и скамеек на больших и малых митингах слышатся картавые, часто неграмотные речи.

— Ожидовел город, — пожаловался племяннику Клим.

— Не любишь? — подмигнул Пашка.

— Признаюсь, грешен. Конечно, народишко, избранный Господом. Обижать нельзя. Но и любить не вижу причины.

— А ты не черносотенец?

— Упаси Господь.

— Говорят, с осени их будут принимать в училище без всяких процентов, — сказал Пашка.

— Доброе дело...

— Доброе, — согласился племянник. — А вот не любят их.

— Всех не любят, — сказал Клим.

— Нет, евреев по-другому...

— Твоя правда... — вздохнул Клим. — Юдофобство оно, конечно, грех, да вот боюсь, въелось неспроста. Россия, видишь ли, так поотстала от европейских земель, что умные люди еще в прошлом столетии (а иные — и четыре века назад!) додумались: мол, не Россия ума-разума медленно набиралась, а напротив, Европа со всех ног заспешила к дьяволу. А русские, выходит, от лукавого подальше и тем самым к Господу ближе. Стало быть, они и есть избранный Богом народ. Но в Священном Писании о русских ни полслова... Христос, понимаешь, сошел не на нашу, а на еврейскую землю, евреев, а не нас, поучал, хлебами кормил. О русских Он тогда не думал вовсе. Правда, славянство

еще на свет Божий не явилось. Но все равно обидно. Мог бы повременить полтыщи годков и родиться, скажем, в курной избе или в белой хатенке. Никто бы Его, Новорожденного, на мороз в сарай не погнал... Приютили бы, обласкали. Так что приглядысь, поймешь: ненависть к евреям — ненависть высокая, религиозная. Это только кажется, что от темноты обзываем: „Жид пархатый”. А тут, брат, глубокий смысл: „не ты, мол, великий народ, а я”. Хотя с другой стороны посмотришь — евреи тебе и скупердяи, деньги в рост дают, капитал приращивают. Твой батька, Царство ему Небесное, чалдон непросыхающий, прогорел, а еврей на его месте непременно выкрутился б. Так что считай, нелюбови к евреям разные. Нижняя, обиходная, несерьезная нелюбовь. Так и греков, и армян, и татар не жалуют. А есть высокая нелюбовь — мистический антисемитизм. С ним ох не просто.

— А ты веришь, что Бог их избрал? — спросил племянник.

— Не знаю. Может, Господь их и отметил, да вот Божьего Сына они по своему зазнайству не приняли.

— Но если бы евреи Христа признали, русским легче б не стало, — робко сказал племянник.

Клим оторопело глянул на парнишку, плюнул и захохотал:

— Ох и голова у тебя! Признали б! Да вся История не туда бы повернулась, когда б они Иисуса приняли. Спаситель без Голгофы! Что бы случилось с Церковью?! Постигнуть страшно. Ей без того нынче тяжко... Эх, Пашка, смута началась, а я, пастырь духовный, капусту сажаю наподобие римского военачальника. Через бельма на очах света не вижу. Куда мне людей вести? Тут третьего дня барышня забегала, евреечка. Дрожит вся. „Креститься хо-

чу”. — „Да зачем вам?” — спрашиваю. Раньше, понятное дело, в университет без того не пускали. А она не объясняет: хочу, мол, и все!.. Ну, разговорил ее малость. Открылась: революции боится. Соплеменников своих, братьев родных и двоюродных, пугается. „Слишком вы их, — сказала мне, — прижимали, погромам содействовали...” — „Я не содействовал”, — говорю. „Я не о вас”, — отвечает. Словом, как аукнулось, такого и жди ответа. „Теперь, — говорит, — на наших удержу не найдете. Как с цепи сорвутся...” Вот она и прибежала ко мне спастись. А какой я, прости меня, Христос, спасатель и от революции защитник? Я сам, грешным делом, царя не любил, за рюмахой его ругал и с твоими отцом и братом за приближение светлого будущего неоднократно чокался. Да и нынче еще не пойму, к добру ли сия пертурбация или лихолетие на подходе? Отговаривал я эту барышню. Повремените, оглядитесь. Крещение, мол, шаг серьезный... Где там! Сразу им надо, сей же час, немедля. Так что окрестил я ее без всякого удовольствия, и забрала меня дурная мысль, что Церкви нашей скоро конец, если такие в нее бегут. А соберись в Православии их сотня тыщ — как тогда? Хоша в Царствии Небесном что эллин, что иудей — все едино, но на бедной земле различие заметно. У евреев кровь не та. Горячая чересчур, нетерпеливая, к смирению неподготовленная. И, смотришь, добрая, тихая, светлая наша Церковь возмущенным разумом закипит, а храмы либо в митинги, либо в синагоги обратятся...

Меж тем семнадцатый год кончается полной неразберихой. Мать пьет, Клим тоскует и вдруг зимой порывает с религией. Из большого поповского дома перебирается в сарай и кое-как при-

способливает его под жилье. А Пашка пропускает в реальном занятия, потому что половина учителей, не признавая новой власти, тоже манкирует. Впрочем, поначалу новая власть сама держится недолго. В город забредают то одни войска, то другие. К Челышевым никто не заворачивает, но у доктора все селятся с охотой, потому что дом с телефоном, ватерклозетом и водопроводом. Клозет и водопровод, правда, тут же бастуют, но телефон почему-то работает, соблазняя все проходящие через город регулярные и нерегулярные банды. И черт-те во что превратился бы дом, когда бы доктор однажды не сорвал аппарат, а заодно и наружную проводку.

Это почему-то впоследствии объявленное *героическим* время казалось Челышеву удивительно тусклым, и когда подраставшая дочка расспрашивала о гражданской войне, Павел Родионович не припоминал ничего особенно выдающегося. Вот только — получил в реальном свидетельство об окончании и поступил в Горный институт.

А Клим к бутылке не пристрастился — корпел на своем огороде. И вдруг на следующее лето ушел с деникинцами. Записался добровольцем. Чудной, в гимнастерке, в бриджах и крагах, забежал проститься на Полицейскую.

— С чего это ты? — удивилась Любовь Симоновна.

— Устал я, Люба, от хамья.

— Сам, что ли, из князей, гражданин Корниенко?

— Конечно, не дворяне, но место свое помнили. А нынче из всяких дыр вельми хамов и дурней вылезло. Обрадовались, свобода, мол, и верховодить хотят, чтоб уже вовсе никакой свободы не осталось.

— Евреи, что ли?

— Евреи, и кацапы, и наши хохлы... Все вкупе, — вздохнул Клим. — Не поверишь, Люба, но за комиссарами пошли такие, кто в погром больше всего

старались. Им с кем вожжаться — один бес! Им лишь бы залезть повыше других! Вот и кровью страну залили...

— А офицерье что делает?! — вскинулся Пашка.

— Эти хоть обороняют свое, бывшее — святую Русь. Дело, конечно, обреченное, но понятное. Как ни гляди — родное... Комиссары же и песни своей еще не сложили — переделали юнкерскую и горланят: „Как один умрем в борьбе за это...” А какое оно это — не спросишь. За подобную любознательность они в подвале твои мозги по стенке разбрызгают. Свобода! Своя власть! Как же... Если эта — своя, так по мне лучше — чужая. Потому что при чужой бывшей власти бедному человеку куда просторней было. Сами виноваты. Что имеем, не храним. Вот и потеряли... Не так я жил. Все мы не так жили... А я еще от спеха и нетерпения, не разглядев, что к чему, крест с груди сорвал. Стало быть, ввел в соблазн малых сих... Вот и осталось одно — ать-два и направо.

— Красиво заговорил, — вздохнула Любовь Симоновна. — Сам-то хоть веришь, что красных осилите?

— Верил бы, Пашку с собой взял... — Клим обнял племянника. — Нет, победы не увижу. Для победы прежде надо было праведным быть. Так что не победа будет, а последний парад, и место мое — среди гибнущих... А Пашка пусть дома сидит. Он перед Россией пока безгрешен.

... Осень девятнадцатого года. Дождь. Холод. Скука. А еды — никакой, хотя у Челышева появился первый заработок: игральные карты. Не торопясь, в три-четыре вечера он изготавливал полную колоду. Правда, керосину уходило пропасть.

Пашка сидел у себя, а в материнской комнате жена Клима Леокадия нудила:

— Нелюди вы, Корниенки...

После ухода мужа она зачастила к невестке.

— Будет тебе, — безразлично отвечала Любовь Си-моновна. — Меньше пилила б его, не удрал бы.

— Пи-ли-ла? Да у вас, у Корниенок, шило в одном месте...

— Я — что? Я дома сижу.

— Да кому ты теперь нужна, старая ворона? А то бы хвост кверху...

— Не нужна. Мы с тобой обе ненужные. На, при-губь...

Мать, поскольку портвейн исчез, не отвергала са-могон.

— Ну ее, отраву. Пойду. Темно уже.

— Ночуй.

— А дом сожгут, с чем останусь?

— Кто на него позарится?

— Не скажи. Какие-то с утречка на мосту стали. Вроде ваши хохлы и матросы. Вели Пашке — пусть проводит.

— И не подумаю. Ей, видишь ли, сарай дорог, а мне и сына не пожалей? Вдруг застрелят?

— Не застрелят. Проводи, Пашенька...

Леокадия вошла в его комнату, и Чельшев, сме-шавшись, прикрыл бубновую даму куском ватма-на. Она получилась кругломорденькая и грудастая, точь-в-точь тетка. Это его удивило. Прежде, когда он оставался ночевать у Клима и Леокадия ходила по горнице, простоволосая, в одной холщевой руба-хе, Пашка ее не замечал. Его тогда одолевали мысли о главном назначении человека, о том, как это *главное* не упустить. Но помрачневший после саморасстрижения, недовольный собой Клим отве-чал неохотно: „Девок тебе портить пора. Грех, ко-

нечно... Но без малого сего греха, смотришь, больший выйдет. Не дури, парень. *Главное* — как мираж. Кажется — рядом, а подойдешь — отскакивает, и опять за ним топай. *Главного* — нету. Прежде оно было — *Бог*, а что такое теперь — ведашь не ведаю...”

— Женщина просит. Неужто не проводишь? — спросила Леокадия, и Пашка вышел вслед за ней в сырую ноябрьскую тьму. Идя рядом с теткой, он поначалу размышлял, что вот, пока есть спрос, настругает дюжину или две игральных колод, а потом, возможно, подвернется чертежная работа в земуправлении. Все-таки должно кончиться шлопутное время... Но мысли о будущем были такими же неглавными, как мысли о картах. Он снова вспомнил убитую в гостинице беженку. Эта — пусть для себя одной — *Главное* чувствовала. Пьяная была. Счастливая. Все бросила, от всех убежала. Значит, было ради чего... Вот они идут с Леокадией по ночному вымершему городу. Где-то зацокали копыта. Красный, зеленый или еще какой патруль сдуру или со скуки хлопнет последнего в роду Челышева, и даже не поймешь, был ли в тебя заложен какой смысл. Даже колоды не дорисовал...

Копыта зацокали ближе. Пашке стало страшно, но и любопытно, словно стук подков должен был открыть сокровенное. Слева была теплая женщина, а справа — зябко и сиротливо. Оттуда приближались конные.

— Пресвятая Богородица, — шепнула Леокадия и повисла на Пашке. Патруль проехал мимо. Лошади в темноте казались неправдоподобно огромными, а кавалеристы маленькими. Горбясь, они, как неживые, болтались в седлах.

— Пронесло, — вздохнула попадья, но Пашку не

отпустила, и он удивился: она ведь собой не крупная, разве что круглая, а в темноте — большая.

— Скорей бы за мост... — шепнула женщина, хотя вокруг было тихо. Только дождь и ночь.

— Перейдем, — промывчал Пашка.

Ему передалась напряженность Леокадии, и стало боязно отстраниться от женщины. Наоборот, хотелось вжаться, вмяться в нее, даже спрятаться в ней. Нет, это не было Главное, но уж чересчур дразнило и заслоняло собой все — Горный институт, недорисованную колоду, даже убиенную беженку... Он подумал: если нынче застрелят, жизнь окажется бессмысленным обрубком без назначения и тайны.

.....

На другой стороне часовых не было. Обойдя кладбище, попадя и Пашка подошли к сараю. Тетка сняла с двери амбарный замок, и из темноты дыхнуло чистым духом полыни. Пашка обрадовался, что под образом нет свечи. Лишнего глазу меньше. Не Бога он боялся, а Клима, словно это Клим подглядывал из угла.

— Иди, постлала... — наконец донеслось из темноты, и Пашка, словно у себя на Полицейской, словно это бывало ежевечерне, стащив сапоги и одежду, улегся справа под одеялом, где прежде укладывался Клим.

Запах греха был стоек и обволакивал, как сено или облако.

— Ой, Любви не показывай! — всплеснула руками тетка. — Ну, синющие...

И Пашка Чельшев стылым ноябрьским утром нес под курткой эти синяки, словно молодой вояка первые шрамы.

.....

Вечером мамаша ничего не сказала, и Пашка, наскоро пожевав, сел дорисовывать колоду. Вскоре его сморило, но среди ночи будто ударило молнией; он вскочил, не зажигая лампы, оделся, оставил записку с каким-то враньем и помчался через ночной страшноватый город.

— Ой, Пашечка, сладкий мой! Приохотила я тебя... — шептала женщина, а Пашка радовался, злился, страдал, мучился, чувствуя: падает, пропадает, проваливается, как под лед.

.....

— Переезжай к ней, — говорит Любовь Симоновна в конце второй недели. Пашка склонился над чертежом. Руки у него трясутся и плечи трясутся, а колени (он вдавил их в табурет и чертит почти лежа) ноют. Простыл, должно быть.

— Переезжай, — повторяет мамаша. — А то от беготни чахотку наживешь. Еда сейчас какая?..

Пашка валится на койку. Его укачивает, будто глотнул самогону. Керосиновая лампа мечется по комнате, словно огромная бабочка, и когда Пашка, напрягшись, хочет задержать ее взглядом, затылок раздирает болью, а глаза так набухают, точно из них вот-вот брызнет гной.

— Мам... — шепчет он и теряет сознание.

Ночью, очнувшись, замечает, что отцовские часы вывалились из брючного кармана и показывают четверть третьего. Значит, еще затемно доберется до Леокадии. Но, наклонясь за сапогами, Пашка опрокидывает чертежную доску и приходит в себя лишь на девятые сутки, в декабре.

За окошком зима. На деревьях снег. Пашке лег-

ко, покойно. И кажется, что снег — во сне... Но глядеть на белое все же надоедает, и он зовет:

— Мам!

Вместо матери входит Леокадия.

— Выздоровел? — улыбается она, садясь на постель. — И жар упал... — Тетка прикладывает ладонь к его лбу. Кончики пальцев у нее какие-то чудные.

— Колется? — спрашивает Леокадия. — Обрила тебя.

— Зачем?

— Затем, что тиф у тебя, Пашечка. Всюду обрила. Теперь ты, как младенчик...

Пашка боится, что услышит мамаша, и шепотом спрашивает, где она. Леокадия медлит, но, видимо, пересиливая себя, говорит:

— В больнице. Тоже — тиф...

— Пойду к ней.

Пашка пробует подняться, но попадья прижимает его к подушке. Да и сам он такой слабый и легкий, что кажется — на улице поплывет по воздуху.

— Врете. Она умерла...

На свету неловко говорить Леокадии „ты”. Хочется плакать, и неприятно чешутся обритые места. — Умерла... — повторяет Пашка. Ему надо, чтобы его пожалели. Но тетка молчит.

Вечером появляется Арон Соломонович.

— Скажите ему, доктор, где Люба, — просит Леокадия. — Не верит, что мамка в больнице.

— В больнице... — недовольно повторяет Арон Соломонович.

— А как ей там?

— Как тебе было недавно, не помнишь? — морщится доктор.

Неделю Пашка валяется в кровати, почти не думая о матери. Но когда Леокадия ненадолго уходит к себе на левый берег, он вдруг вскакивает, напяли-

вает ставшую чужой прожаренную одежду и тащится в ближайшую больницу. Юноша за конторкой, очевидно, мобилизованный на сыпняк медицинский студент, переворотив грудку списков, отвечает, что Чельшева Любовь Симоновна, 1874 года рождения, за последний месяц не поступала. То же самое говорят в других лазаретах.

Дома Пашка плачет и костерит Леокадию:

— Ты ее сгубила...

— Грех тебе, Пашечка! — пугается тетка и сама напускается на Пашку: — Это ты Любу сгубил. Твоя вошь была...

Утром Чельшев тащится на окраину к бараку, куда, как объяснили в больницах, свозят умерших от тифа. Сторож лениво гонит Пашку, но Чельшев крутится возле барака и вскоре забирается в покойницкую. Тела лежат штабелями. Те, что в нижнем белье, попеременно с голыми; мужчины — с женщинами.

— Мамку найти надо, — объясняет Пашка возчиком, что выносят трупы и бросают на телегу.

— Айда, подхватывай, вдруг попадетя, — шутит пьяный парень, и Пашка покорно берет за ноги желтую, в больших бурых пятнах женщину. („Как лошадь в яблоках”, — сравнивает машинально).

Матери нигде нет. Но Чельшев каждый день тащится в морг и не то чтобы сходится с возчиками, но все-таки пьет с ними самогон в отгороженной камерке. Тут тепло. Пыхтит выведенная в фортку „буржуйка”, а матюгня мужиков Пашке не мешает. Он одеревенел и прочих слов, кроме „да” и „нет”, не помнит.

„Ох, и старый ты, Пашка... Прямо мудрец-философ...” — все чаще вспоминает Чельшев материнские слова, что теперь открываются ему новым смыслом: „Ох, и чужой ты, Пашка!”, или: „Ох,

и жестокосердый!”, или: „Не любишь ты меня, Пашка!”

„Люблю!” — хочется закричать на всю нагретую каморку, но голос уходит куда-то вовнутрь и там тычется в ребра. Пашка не знает, где мать, но догадывается: ей одиноко. Он вот пьянствует с мужиками, а ей нечего выпить. Найти бы, похоронить полюдски, а весной приходиться на могилку и шептать: „Мам Люба...”

„Прежде надо было думать, — злится Чельшев на себя. — Раньше, когда она еще не пила и верила, что вырасту ее опорой и утешением. Ничего не скажешь, порадовал я ее „невесткой...”

— Айда к нам насовсем, — усмехается пожилой возчик. — Пока тифушка да голодушка, этих возить — милое дело. И сыт будешь, и на пося запасешься.

„Какое там „пося”?” — мрачнеет Чельшев. Он возвращается в Горный институт, а через год поступает еще и на стройку. Их теперь двое. Леокадия перебралась к нему, ведет хозяйство. От Клим, хотя заваруха кончилась, ни слуху, ни духу. То ли убили, то ли ушел с белой армией за кордон и там приискал себе другую женщину, а Леокадию назначил Павлу, чтобы мучили друг друга. Для бывшей Полицейской улицы давно не секрет, что тетка и племянник живут не как родичи. Женщины жалеют Павла. Молоденький еще. Такому не безмужною старую бабу, а девку надо... Но девка еще не выросла! Удочеренная Токарями, вся в кружевах и ленточках, она чинно выступает по улице между доктором и докторшей, но при встрече с Чельшевым корчит рожи.

— Бронечка, оставь молодого человека в покое. Паша, не обращайтесь внимания, — краснеют Арон Соломонович с Розалией Аркадиевной. Бездетные,

они привязались к девочке, прощают ей все, и та вертит ими, как ей вздумается. Узнав от соседок, что она — приемыш, Бронька зовет себя то по-польски — Барбарой, то по-русски — Варькой.

Впрочем, не Бронька занимает мысли Павла. Заботит Чельшева другое: его молодая жизнь течет невесело. На стройке и особенно в вузе на него косятся, как на чужого. Павел и сам не поймет, отчего он чересчур тихий, как говорится, мешком пришибленный. То ли доканала чередой потерь, то ли — безлюбовная жизнь с Леокадией? Но он и впрямь не пылает революционным энтузиазмом. Однообразие восторгов толпы, согнанной в гурт, оскорбляет Павла. Он инстинктивно отгораживает себя от всяких ячеек и собраний, боясь среди других потерять себя. Что он сам такое — Павел понимает смутно, но все-таки остерегается навязанных мнений, словно те, как кирпичи с лесов, могут свалиться и размозжить черепушку.

Даже в эпоху непосредственного общения вождей и массы Чельшев отворачивался от всего восторженно-советского, и сам Лев Троцкий не подогрел в нем интереса к победе пролетарского дела.

Весной двадцать третьего года, воздавая должное рабочему классу и студенчеству губернии, наркомвоенмор заглянул на день в Пашкин город. В Горном институте Чельшеву билета на встречу с вождем не выдали, но на стройке, где он поднялся до помпрораба, в общий список внесли. Зал бывшего купеческого собрания был забит часа за полтора до начала. Не желая мозолить глаза институтским комсомольцам, Павел забрался на самый верх. „Погляжу, — подумал он, — с чем его едят. Кумир все-таки!..”

Под аплодисменты, под истошные выкрики „Да здравствует вождь красного фронта!”, „Да здрав-

ствует вождь мировой революции!”, „Ура великому народному вождю Красной Армии!”, наркомвоенмор был на руках внесен комсомолками на сцену и бережно усажен за длинный, покрытый красным сукном стол. К удивлению Павла, Троцкий был не во френче с бранденбурами, а в гражданском. Вождь казался мрачным и усталым. Широкий лоб нависал над нижней частью лица. Впрочем, шел второй час ночи и Троцкий уже отвыступал у военных, у путейских, у металлистов и в губкомитете.

— Товарищи, слово предоставляется представителю стройупра, — поднялся сидевший рядом с вождем секретарь партячейки Горного института.

— Троцкому! Троцкому!.. — вопил зал.

— Тише, товарищи, — поднял руку секретарь. — Лев Давыдович непременно выступит. Но сначала вы, товарищ Дембó...

Крохотный очкастый паренек, весь дрожа и все-таки важничая, выскочил на трибуну и, выхватив из нагрудного кармашка листок, зычно, от волнения сбиваясь, прочел:

— Протокол экстренного заседания расценочно-конфликтной комиссии стройупра номер один. Постановили: „зачислить товарища Троцкого почетным маляром 1-го стройупра и с 12-го апреля 1923-го года начислять ему тарифную ставку по седьмому разряду, руководствуясь тарифом союза строителей”.

Снова зал сотрясли „ура” и приветствия „стальному вождю”, „мировому вождю”, „народному красному вождю”, но Троцкий даже не улыбнулся.

„Привык”, — подумал Павел.

— Слово предоставляется... — успел лишь выкрикнуть партсекретарь, и зал тотчас взревел и не умолкал минуту, две, десять... Теперь утихомирить его мог лишь наркомвоенмор, что он и сделал, вый-

дя к трибуне. Движения у „стального вождя” были заученные. Видимо, сказать речь ему было не сложнее, чем высморкаться.

Бросив несколько крылатых фраз о бескорыстии и энтузиазме молодежи, Троцкий тут же оглоушил всех, заявив, что Соединенные Советские Штаты — страна бедная, в тридцать шесть раз беднее Американских Соединенных Штатов. Капиталисты нас могут купить с потрохами. В один год своими долларами они погубят всю нашу национализированную промышленность, если мы не оцетинимся и не выставим барьером монополию внешней торговли. Зал замер от страха, а Троцкий своим и в самом деле железным голосом призвал не щадить сил и работать, работать и не щадить сил. И еще раз экономить и экономить.

— Надо проявлять чудеса героизма! — кричал Троцкий. — Как проявлял их маленький эксплуататор, мелкий хозяйчик. Тот не жалел ни себя, ни жены, ни детей, спал по четыре часа в сутки, урезывал себя в каждом пятаке, но зато прошел период первоначального капиталистического накопления. И нам нужно бороться с такой же страстью, но за пятак советский, социалистический! И тогда, несмотря на нашу жалкую, постыдную бедность, мы вытащим страну из нищеты и капиталу не сдадим!

Зал качало от оваций, а Павлу было тоскливо и одиноко. Он с трудом протиснулся к запасному выходу. Не хотелось сталкиваться с сокурсниками. Они бы насели: как, мол, тебе Троцкий? А правду разве ответишь?

Перегоняя Чельшева, сверху повалила толпа, и он свернул в курилку переждать, пока спадет энтузиазм и комсомолия разбредется по общежитиям. Однако когда через четверть часа Павел выглянул на винтовую лестницу, оказалось, что низ ее,

точно мухами, усеян парнями и девушками в пиджаках и кожанках, а перед ними стоит народный вождь.

— Как вам, Лев Давыдович, не боязно перед столькими людьми говорить? — спросил один хлопец.

— А тебе что, страшно? — удивился Троцкий.

— Еще как!

— Если в зале двести человек — страшно?

— Две-ести?! Если двадцать — и то...

— А когда — пять?

— Ну, пять — куда ни шло...

— Тогда убеди себя, что в зале не двести или тысяча двести, а всего один человек и тот болван, — улыбнулся Троцкий.

Все загоготали, а Павел опешил: „За людей нас не считает. Что ж, за ним сила. Клим говорил, что Троцкий пулеметами красные полки поворачивал. Они драпали, а он их выстраивал шеренгами, выводил в расход каждого десятого и снова на чехов гнал. А тут, думает, без пулеметов обойдется. И ведь обходится...

— Вот оно как получается, Климентий Симонович, — неожиданно для себя позвал Челышев пропавшего родича. — Вокруг ликуют, а мне тошно. Может, я и вправду малахольный? Что молчишь, чертов эмигрант?

— Глупый ты, — вдруг отозвался Клим из неведомого далека. — Глупый... Зачем сомневаешься, когда как день ясно: не ты дурень, а они. Потому что ты мыслишь сам, а они — скопом.

Винтовая лестница все еще переваривала реплику наркомвоенмора, а в дверях курилки, как некогда на своем огороде, Клим вразумлял Павла:

— Радовался бы, парень, что тебя еще не скрутили, что ты покамест сам по себе. Помнишь, может

быть, найдется там десять праведников? „не истреблю ради десяти” город сей. Ну, праведников давно не сыщешь. Но пусть хоть наберется десять грешников, чтобы каждый размышлял по-своему — и уже не пропадут ни город, ни держава. Так-то... А ты стыдишься и чахнешь, как невиданная девица. Голову подыми... — сказал Клим и вдруг исчез.

Павел вышел на лестницу, снова взглянул на стального вождя и подумал: „Что ж, когда ты в фаворе, шутить легко. Всякую глупость и даже мерзость на „урú” примут”.

И позже, когда Троцкого перехитрили, сначала отняли пулеметы, а потом сослали на окраину страны в бывшую крепость Верную, Павел, хотя и жалел железного бедолагу-вождя, но ночную встречу с ним все равно помнил.

Женя стучала на машинке, стопка отпечатанных страниц росла, однако полностью отдаться работе Жене не удавалось. Мешал Пашет. Прочитав первую порцию, он почему-то не потребовал продолжения.

„Неужели ему неинтересно? — думала Евгения Сергеевна. — Или притворяется? Нет, просто себе внушил, будто Токарев бездарен. А раз я назвала рукопись талантливой, меня следует проучить. Господи, когда прекратится наша внутрисемейная борьба? Когда один из нас умрет...”

Подумала и перепугалась, не произнесла ли фразу вслух.

„Н-да... — покачала головой. — Счастливые люди не изводят друг друга. У них все силы отнимает поприще. А мы — неудачники... Не желает читать? Ну и пусть. Это даже к лучшему. Дальше пойдут малоприятные страницы о Варваре Алексеевне.

До сих пор не пойму, чем Пашета привлекла эта ведьма? Бедняга, не повезло ему с женами...”

К шестнадцати годам Бронька Токарь выглядела двадцатилетней и ростом вымахала с Челышева.

— Ужас какой-то! Что творится с девочкой?! Увидите, это не к добру! — вздыхал Арон Соломонович.

Челышев и старый доктор сидели на бульваре под светлым тентом. Павел пил пиво, доктор ел мороженое.

— Прордыху нет от вашей Броньки, — пожаловался молодой инженер. — Ко мне ходят дамы, а эта, извините, цаца торчит на заборе и матюгает их на весь двор. Теперь стала камни швырять. Уймите ее.

— Паша, медицина бессильна, — робко улыбнулся Арон Соломонович. — Вы должны сами себе помочь. Вы еще молодой. Зачем же губите себя в наших палестинах?! Кстати, почему не на службе? Случайно, вас не сократили?

— Нет, я в отпуске.

— Слава Богу. А я, представьте, испугался. Знаете, что я вам скажу? Уезжайте. Да-да, уезжайте. Вас уже никто здесь не держит...

— Никто, — покраснел Павел, понимая, что доктор намекнул на Леокадию. Два года назад неожиданно-негаданно в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (так в то время называлась Югославия) сыскался Клим и стал забрасывать жену посланиями. На чужбине, писал, не сладко, но и жить врозь не гоже. Леокадия обила пороги серьезных губернских учреждений и, напирая на то, что женщина она одинокая, бездомная, неслужащая, выплакала себе визу.

— Уезжайте, Паша. Ничего, кроме неприятностей,

вас в нашем захолустье не ждет. Уезжайте в Москву. Здесь вы плывете по течению, а это плохо кончится... Верьте мне. Я старый человек. Я тоже совершил катастрофическую глупость: не уехал. Конечно, было нелегко. Шла война. Мы собирались, но так и не сдвинулись с места. А ведь могли поселиться в Ростове, в Тифлисе или на Волге, скажем, в Саратове. Для врача черты оседлости не было. Девочка не узнала бы, кто она, и выросла бы совсем другой. — Доктор вздрогнул, отчего ложечка звякнула о закраину розовой мороженицы.

— Да загляни вы в любой приют или просто на углу подбери беспризорницу, и то бы лучше вышло, — сказал Чельшев.

— Вы неправы, Паша. Я вам сейчас объясню. Я неверующий еврей. Домашний доктор. И, будем откровенны, врач не блестящий. В жизни я видел одни болезни и верил только в медицину. Но в душе, Паша, у меня зияла лакуна. Нет, жену я люблю и уважаю. Но когда вы долго живете вместе, а детей у вас нет, жена уже не жена, а вы сами. До этого ребенка я ощущал одну пустоту. Эта девочка мой бич, но одновременно смысл моей, то есть нашей с Розалией Аркадиевной печальной жизни. За все, Паша, приходится расплачиваться. Но зато теперь мне, то есть нам есть ради кого жить. Пусть Бронечка тиран, мы все равно ее боготворим и — не смейтесь! — ужасно ей благодарны.

— Но это же рабство!

— А кто вам сказал, что любовь не рабство? Уезжайте, Паша. Девочка вас в покое не оставит, а вы совсем не стойкий... Вероятно, вы уже хороший инженер, но ведь этого недостаточно. Нужно иметь еще нечто такое, что прежде считалось дан-

ным от Бога. Что-то важнее профессии. Нечто внутри нас, что больше нас. Уезжайте в Москву.

— И там я обрету это „нечто“? Нет, Арон Соломонович, от себя не убежишь.

— Не говорите того, чего не знаете. Москва, Паша, потребует вас всего, целиком. Она отнимет все ваши силы и таланты, если они, конечно, у вас есть, и не позволит вам валяться на койке или пить на бульваре пиво. Ведь здесь вы прозябаете.

„Да кто бы сидел в этой дыре, если бы фартило уехать?! — подумал Чельшев. — Ан не сдвинешься. Не то сей же час укатил бы! Но в проектной конторе ко мне привыкли. Рукой махнули, мол, Чельшев — политически несознательный. Обыватель. Ничем, кроме женского полу, не интересуется. Хотя вообще-то исполнительный. Чертит неплохо и даже соображает. Специалист. Потому и держим... А в Москве я человек новый, и придется мне притворяться идейно-близким. Нет уж, лучше посижу в своей норе. Тут никто не знает, до чего мне все нынешнее обрыдло, как не переносу этих плакатов, лозунгов и захватившего купеческие особняки партийного хамья. Зарядил эскулап, словно у Чехова: „В Москву! В Москву!“, а в Москве, наверное, агиток, транспарантов и начальственного чванства вчетверо против здешнего. Так что помру, где родился, и ничего мне столичного не надо. Только на митинги и демонстрации не гоняйте...”

Доктор расплатился с хозяйкой павильона, а инженер заказал еще пива. Сотрудница, с которой у него этим летом начался роман, боясь Броньки, отказывалась приходиться на бывшую Полицейскую засветло. А куда лучше ожидать женщину дома. Принес пивка в бидоне, разделся до трусов, вытянулся на чистом прохладном полу и читай, сколько хочешь...

Наконец, в седьмом часу, копировщица освободилась. Они съездили на остров и теперь возвращались. Темнело быстро, и так же поспешно холодало.

Бронька ждала их не на заборе, а внизу, на отвалившейся половинке кирпичного столба.

— У-у-у! Опять, Пашенька, с шалашовкой? Шалашня! Шалашня! — закричала девчонка, и тридцатилетняя женщина судорожно вцепилась в Павла. Мимо ее головы просвистел камень.

— Идем, идем, не бойся, — сказал Челышев.

— Уы-уы! — завывала девчонка, словно играла в индейцев, а не исходила ревностью.

— А-а-ай! — вскрикнула женщина и прикрыла лицо руками. — Паразитка, в глаз попала!

— Погоди, сейчас промоем. Только шкуру с нее сдеру! — рассердился Павел.

— Сде-ере-ешь! На вот, сдирай! — хохотала Бронька.

Снова в воздухе засвистело.

— В зубы... В зубы, гадюка... — застонала женщина и кинулась не к челышевской развалюхе, а на улицу.

— Стой! — крикнул Павел. — Не надо... Не зови! Женщина не послушалась.

— Боягузы, боягузы! — засмеялась Бронька, но отступила к забору.

— Дрянь, сейчас у меня схлопочешь!

Челышев подошел к девушке и схватил за руку выше локтя.

— Идем. Сейчас она ментов притацит. Погоди, дверь открою. Не вздумай удрать.

Он втащил девчонку на крыльцо.

— У тебя руки трясутся, — сказала Бронька. Ключ и впрямь не попадал в щель замка.

„Сейчас запоешь иначе. Я без милиции обой-

дусь...” — решил Чельшев и через застекленную покосившуюся веранду поволок Броньку в комнаты.

— Ложись! — толкнул на койку. Бронька, не сопротивляясь, плюхнулась животом вниз. Павел сорвал с гвоздя старый реальный ремень, на котором по утрам правил бритву. Бронька, не оборачиваясь, покорно сопела.

— Ой, не щекоти! — вскрикнула, когда он задрал ей капот.

„Получишь „не щекоти“... — усмехнулся он, но тут же оробел. — Тоже модница... Простых носить не может...”

Сунув ремень под мышку, он стащил с Бронькиных довольно могучих бедер шелковые нэпманские панталочки и, перехватив ремень за пряжку, хлестнул со всей силы.

— Ой! — взвизгнула девчонка.

— А камнями — не „ой“?”

Вдруг затрещало крыльцо, в дверь забарабанили, копировщица сказала хриплым от волнения голосом: „Павел Родионович, откройте!” А девчонка, вывернувшись из-под ремня, прижалась к Чельшеву. Лицо у нее было мокрое. Значит, ревела молча. Тут уж стало не до экзекуции. Он обнял Броньку с раскаянием и жалостью: вот, лупил ремнем, а ведь она его любит. И камни потому швыряет. А что в нем, Чельшеве, такого?

За окном поскрипели сапогами, посветили фонариками, и снова стало тихо и темно. Но ощупью даже верней, чем зрением, Павел понял, как юна Бронька. Это пахнет сроком... И ведь не тянуло к ней. Пробегал мимо, надеясь: не прицепится. А вдруг притворялся? Вдруг ему нужна именно такая, нетроганная, неопытная? Не было у него девушек. Даже толком не знает, что они такое...

„А зачем тебе?“ — опомнился, но Бронька, вмявшись в него, не позволяла думать. В те годы желание не покидало Чельшева. Оно как бы тайно насыщалось его молодостью, честолюбием и неосуществимыми надеждами. Все это вместе, усиленное неприятием сущего и неучастием в нем, перегонялось в тягу пропасть, утонуть, утопиться в женщине хоть на ночь, хоть на пять минут, а уж там — все равно... И Леокадия, пусть была старше на пятнадцать лет, для этого мѳрока годилась. И те сотрудницы, что были после нее. И копировщица. Теперь же к нему прижималась Бронька, а она всех моложе...

„Оттолкни. Врежь ей разá и выгони... Ведь погубишь ее и сам погибнешь...“ — шептал ему кто-то печальный и умудренный. Но руки, не слушаясь, искали Броньку.

— Пашенька... Паша... — всхлипывала она, будто Чельшев снова хлестал ее ремнем.

— Ну, не реви... Будет, будет... — все же пытался он удержать себя. — Беги домой. Мильтоны смылись...

Но Бронька не слышала.

— Паша... Пашенька... — дышала она тяжело и властно, как взрослая баба.

„Ух, много ее...“ — последнее, что успел подумать Павел.

Броньки и впрямь было много, и выставлять ее, такую бешеную, за дверь оказалось еще трудней, чем ей покориться.

Часа через два растерянный Чельшев постучался к Токарям и сказал: пусть поступают с ним, как хотят. Он готов хоть к допру*, хоть к загсу. Док-

* Дом предварительного заключения.

торша рыдала и ругалась на идиш, а Арон Соломонович, покачивая желтым черепом, твердил:

— Я вас предупреждал, Паша... Почему вы такой не стойкий? Не стойкий, совсем не стойкий...

— Пусть в тюрьму идет, махновец! Их не распишут... — переходила Розалия на русскую речь.

— Распишут... — бормотал Павел, словно уже знал, что Бронька забеременела.

Так наступила странная пора его жизни. Бронька, превратясь в Варвару Чельшеву, пробыла у Павла меньше месяца. Хотя он таил от молодой жены, что она ему в тягость, новобрачная почти тотчас это поняла.

— Благородство показываешь?! — резала она ему в глаза. — Да катись ты с ним подальше. Нужно мне твое благородство...

„Действительно не нужно, — молча соглашался Чельшев. — Эх я, недотепа...”

— Думаешь, ты добрый? Никакой в тебе доброты нету! — кричала Бронька. — Доброта у сердечных людей. А в тебе одна скука и порядочность.

„Все правильно, — сокрушался Павел. — Не добрый, не благородный. Черствый... Можно обозвать и покрепче. Зачем ее, беднягу, ко мне кинуло? Что во мне нашла? Неужто надеялась: спасу? От бешеной, разнузданной ее натуры — уберегу? Наверное, самой себя боялась... Но какой я спасатель? Без любви не спасешь, а я и жалости не наскребу. Такие мы чужие, что не найду, о чем нам разговаривать. Эх, обабил, озлобил, терпи...”

— Вейзмир, что будет с ребенком?! — волновалась докторша теперь уже о Бронькином потомстве.

— Кошмар! — вторил ей Арон Соломонович, ибо Бронька днем грозилась лечь на аборт, а ночью убе-

гала через улицу к Коське Дрозду, босяку и алкоголику. Бывший гимназист опустился до того, что служил в утильной палатке. Напиваясь, он орал на всю улицу:

Улыбнися, Броня,
Ж... об забор,
Чтоб доски полетели
На соседний двор.

— Ужас, — повторял доктор, но больше не просил Павла уехать в Москву. Он почему-то привязался к зятю, хотя по существу Чельшев уже зятем не был. Записав Машеньку в загсе, Бронька тут же развелась с Павлом Родионовичем. Однако за Дрозда замуж не пошла, а поступила работать в гостиницу. По случайности в ту самую, где задушили ее мать.

И Чельшев, ни на ком не женившись, вел весьма странную жизнь: спал у себя, а столовался у Токарей.

„Такой у нас был с Пашей контракт“, — спустя десятилетия уверяла Варвара Алексеевна. Но это было чистым вымыслом. Ни о чем они с Бронькой не договаривались. Просто Чельшев привязался к дочке, хотя пробиться к ней было не просто. Дед, бабка и прислуга тетешкали Машеньку, словно престолонаследницу. Сама же Бронька относилась к девочке вполне прохладно.

(... — А ведь такое постное времяпровождение тебя, Пашет, устраивало, — впоследствии заметила Женя. — На улице энтузиазм, пятилетки в четыре года, челюскинцы, папанинцы, ночные аресты, а ты сидишь в тихом еврейском тепле и рассуждаешь со старым цадиком о надмирном. Не было ли это заурядным бегством от действительности? Так психически неуверенные в себе люди прячутся от

сложностей жизни в болезнь. Ужасно мне тебя жаль, Пашет. Романы хоть крутил?

— Некогда было. Дочку воспитывал, — сердито ответил Павел Родионович.

— В этом ты, к сожалению, преуспел мало, — вздохнула Женя, и крыть было нечем.)

Машенька в самом деле росла не такой, как хотелось Чельшеву. Чересчур оказалось в ней много настырного, как считал Павел Родионович, Бронькиного. Вечно хотела она быть на виду, нетерпелива была, нетерпима: все ей надо было тотчас, вынь да положь! Увидев мальчика на синем велосипеде, она так истошно вопила на всю привилегированную улицу: „Купи такой! Купи такусенький!”, что Чельшев подумал: „Сейчас нас арестуют”. (Он испытывал стойкую неприязнь не только к велосипедам, но и к секретарям горкомов.)

С годами жажда быть выше всех, впереди всех начала распирать Машеньку, словно спортсмена или политика. В двенадцать лет она стала председателем ученического комитета. Тщеславие у нее было Бронькино. Та, не взяв образованием, вступила в партию и перед войной управляла целой гостиницей.

„Нет, не в меня дочка, не в меня, — удивлялся Павел Родионович. — Но если бы пошла в меня, тоже плохо... Ее не спрячешь в угол, в подпол, в нору, чтобы таилась как мышь, спасаясь от общественных нагрузок. Ребенок не выдержит одиночества. Особенно такой ребенок. Яркий ребенок. Активный, как теперь говорят. Да и вправе ли я обречь девочку на беспросветное отщепенство?!”

Отщепенство и одиночество самого Чельшева, возможно, длились бы вечно, если бы не война. На ее четвертый день, хотя в „Шахтпроекте” обещали броню, Павел Родионович заглянул в военкомат, и его тотчас определили в строительную команду.

Так что на другое утро во дворе окраинной школы доктор Токарь мог с гордостью лицезреть обряженного в хаки зятя: вот, мол, кто победит Гитлера! Розалия сморкалась и плакала. Даже Бронька деликатно прикладывала к ресницам батистовый платочек. И только Машенька была откровенно уязвлена, что отцу, взамен кожаной португалии, выдали брезентовый пояс, а вместо хромовых сапог — ботинки с обмотками.

Первые полгода, отступая от Днепра к Донцу, Павел Родионович в письмах в Сибирь передавал Токарям неизменные приветы. Машенька отвечала скупой: „Мама здорова. Я здорова. Большое спасибо. Письма доходят. Деньги по аттестату получаем. От мамы поклон...”. О стариках же — ни слова...

Тогда при переоформлении аттестата Чельшев разделил шестьсот рублей на четыреста и двести, и двести переадресовал Розалии Аркадиевне Токарь. „Вдруг Арон помер, а женщины — они живучей...” — обманул он себя. Доктор был худой, поджарый, не тронутый ни диабетом, ни склерозом, а Розалия — туша на пудовых ногах.

Двести рублей по военному времени — мелочь. Только-только отоваривать продуктовые карточки. Но тут Бронька почему-то откликнулась. Токари, написала, затерялись в дороге. Она ничего о них не знает, хотя запрашивала Бугуруслан, куда стекаются сведения об эвакуированных. И старший лейтенант Чельшев считал стариков пропавшими без вести, пока в конце сорок третьего не попал в свой город. Уцелевшие соседки рассказывали, потупясь, будто виноваты были они, а не немцы. Но что могут невооруженные жительницы против вермахта? Женщин тоже стоило пожалеть. Все состарились лет на десять.

— А где все ж таки Токари? — спросил Челышев, стоя посреди голого двора в кургузой порыжевшей шинели.

— В балке, Пашенька, всех ихних полóжили... — сказала соседка, сверстница Любви Симоновны.

— Да Розалия Аркадиевна туда не добрела бы, — нахмурился Челышев.

— А у в тачке везли... — прошамкала старуха, и ни о чем больше расспрашивать не хотелось. Он ушел, не прощаясь, и протелеграфировал Броньке, что Токари расстреляны, а их дом (там было нечто вроде солдатской казармы) немцы сожгли при отходе. О том, что его комнатенки уцелели и даже нехитрая мебель не тронута, Челышев не написал.

Субботний день еле тянулся. Но вот кухонные ходики прокуковали два раза. Однако Женя не оторвалась от машинки, и старику пришлось взять следующую пачку страниц. Он прочел, как забрали стихотворца Юза и как Надька его жалела, но справляться о нем на улицу Дзержинского не пошла. Впрочем, что ходить, если украинская газета напечатала: „Троцкист и буржуазный националист”. Юдя была в ужасе. Пила капли, шипела: „Нечего было таскать маленького на их бандитские Первые Мая! Вот отправят нашего сироткина в детский дом, а Наденьку — туда, куда теплых вещей не напасешься и где грации не нужны, потому что дамы ватники носят...”

Но в городе уже пошла такая вакханалия, что забыли не только о Грише и Надьке, но даже об их отце. Арестовали нового обитателя горкомовского особняка, да и тот, что въехал следом, блаженствовал там недолго.

„Так им, петлюровцам!” — ликовала Юдя и все нежней и печальней глядела на племянников. Слов-

но чуяла, что уже недолго ей ими любоваться. И в самом деле: следующей весной, схватив простуду, Юдя посоветовала Надьке устроиться на швейную фабрику, а сама отошла в лучший мир, на кладбище, за красный кирпичный забор, вплотную к столбику, где „замурована мамина урна”.

... Затем в мемуарах появляется мамина московская подруга тетя Сусанна, у которой Гриша живет на летних каникулах в той самой узкой темной комнате, где мама Дора прежде времени закрыла печную заслонку. Москва оглушает мальчика. Но однажды к тете Сусанне вваливается моложавый любимец Сталина. Он подшофе и обескуражен присутствием подростка. Узнав, что это сын Доры, красавец, мрачней, бормочет: — „Весь в мать”, — и треплет мальчика по вихрам.

„Наверное, тоже предаст, как дядя Август”, — настораживается Гриша и неохотно отвечает:

— Да, учусь хорошо. Да, пишу стихи.

При этом мальчик видит, что тетя Сусанна не сводит с гостя возбужденных глаз.

Седой красавец, трезвея, просит мальчика прочесть что-нибудь свое. Гриша читает стих о том, как машинист напился пьяным и поезд с красноармейцами сошел с рельсов. Гость, насупившись, объясняет тете Сусанне, что стихотворение не только упадочническое, но еще, так сказать, клеветническое. Конечно, во время гражданской войны случалось красноармейцам пить самогон. Он сам, когда мальчишкой партизанил, „согревался”. Но надо отсеивать типическое от, так сказать, случайного, а пьянство, тем более на железной дороге, явление именно не типическое. Незачем позорить наших путейцев. Если машинист повез подкрепление Красной армии, то пить ни при каких обстоятельствах не станет. А если он контрреволюционер, то перед поворотом,

спасая, так сказать, свою шкуру, выпрыгнет на ходу, и пьянство здесь ни при чем.

— Прочти что-нибудь невыдуманное, — смягчается красавец. — О школе, например. О сестре прочти. Кстати, что делает Надя? Ну, вот видишь, твоя сестра героический рабочий класс. Или о своей девчонке прочти. Неужели не написал?

— Нет, — вспыхивает Гриша и тревожно смотрит на тетю Сусанну, которой на днях прочел два стиха о Маше Чельшевой. Но тетя Сусанна, напрочь забыв о Гришиной героине сердца, поддакивает седому красавцу: конечно, конечно, нужно писать жизненно и только о том, что сам перечувствовал...

Мальчик смертельно обижен. И хотя в Москве метро, музеи, Сельскохозяйственная выставка и никаких проблем с едой, он рвется к сестре, уезжает раньше конца каникул, но в мазанке обнаруживает молодого, стройного, отдаленно схожего с седым красавцем студента-транспортника. Тот валяется на Юдиной койке, лениво перелистывает „Двадцать лет спустя”, пока Надька, не страшась фининспектора, строчит на ножной машине что ни попадя — даже юбки и платья. И не с меньшим отчаяньем дребезжит ночью Юдина койка. А студент не замечает Гришу, будто тот предмет неодушевленный, о который стучаешься впотьмах, вскакивая по нужде.

Но с середины осени транспортник все чаще ночует в общежитии, а потом вдруг записывается в лыжный батальон и отбывает на Карельский перешеек. Надька ревмя ревет, чем-то долго, тяжело болеет, и Токарей неожиданно навещает Варвара Алексеевна, Машина мама. Она удивлена, до чего в мазанке неуютно, зябко и голодно. Брат и сестра едят хлеб с кабачковой икрой да картошку в „мундире”.

Но Грише наплевать на быт. Печалят стихи и еще

Надька. Она стала возвращаться пьяной, и не допытывается, работает или снова на бюллетене. Все чаще мальчик встречает сестру возле „Астории”, гостиницы Машиной мамы. Отель как раз напротив пионерского (бывшего губернаторского) дворца, куда Гриша бегает в литкружок. Давно прошло время, когда сестра шептала: „Кутик у нас лучше всех”.

Теперь чуть что не по ней, заходится криком. Осунулась. Под глазами — чернота, и Варвара Алексеевна, заходя в мазанку, хохочет:

— Ребекка! Ну прямо прекрасная Ребекка!

— Она Надежда, — сердится брат.

— Знаю. Не учи. Я говорю — тип Ребекки.

А в литкружке ребята твердят:

— Бросай стихи! Ведь рифмуешь „ботинки” и „полуботинки”...

Будто катапультированный, Гриша вылетает из дворца и, как нарочно, навстречу ему высокомерно улыбаясь, катит на голубом велосипеде Маша Челышева. Жить не хочется... Утешает лишь обещание тети Сусанны снова взять на лето в Москву.

Наконец, куплен билет в общий вагон, но за день до отъезда Молотов объявляет о войне. Начинаются воздушные тревоги, всюду роят щели, и обычная для окраины кличка „жиденок” оборачивается нешуточной угрозой. Потому-то Надька, будто очнувшись от пьяного сна, губ не мажет, вина не пьет, а протрачивает мешки. Нужны именно мешки с лямками, а не чемоданы. И даже швейную машину, сняв с подставки, Надька укладывает в собственного фасона рюкзак. С машиной с голоду не умрут. Надо только найти город поменьше, где-нибудь за Уралом.

Сестра вновь ласкова с Гришей и если бегает к

Машиной маме, то по другому поводу: умоляет взять с собой...

И вот они в теплушке! Станция забита вагонами разных колеров и габаритов. „Будто цыгане работали сцепщиками”, — приходит Грише заготовка для стиха. Ужасно хочется пить. Но Машина мама не позволяет выпрыгивать из вагона.

— Кутик, тронется поезд, на ходу будет прохладней, — успокаивает брата Надька.

В теплушке сколочены нары. На вторую полку, прямо против двери, забралась Маша Чельшева. Ее косички разъехались по розовой наволочке. Эвакуируется горсовет и отчасти горкоммунхоз. А Гриша с сестрой, впущенные в эшелон из милости, приткнулись у двери на своих мешках.

— Ку-у-тик, — вытягиваются Машины губки. — Ку-у-ти-ик...

Внизу, как раз под Машей, сидит Варвара Алексеевна. Она слегка уморилась, бегая от пассажирского пульмана, где начальство, к теплушке и обратно, наводя порядок и распределяя еду. С утра всем, кроме Токарей, выдали хлеб, масло и даже сухую колбасу, которая давно исчезла из магазинов. Но Грише на такой жаре не есть хочется, а пить.

— Ку-у-ти-ик! — дразнит Маша. Подросток отворачивается. Теперь перед его глазами паровозная колонка, из которой — кап-кап-кап — падает сразу по глотку воды.

— Бро-оня! Бро-онечка! Ма-ше-ра!.. — вдруг доносится от хвоста состава. Варвара Алексеевна вздрагивает и, злобно глядя на Надьку и Гришу, прижимает палец к губам: мол, пикнете — выкину из вагона. А на верхней полке девочка Маша накрывается подушкой.

Вдоль путей бредут лысый, сутулый доктор То-

карь и огромная, словно накачанная водой, докторша. В руке у доктора облезлый медицинский саквояжик, у нее — кошелка. Старуха держится за старика, и так они плетутся между составами — он, старый Дон Кихот, она — обезноженный Санчо Панса:

— Броня! Бро-онечка! Ма-ше-рочка! — слышно в теплушке.

Девочка Маша готова вдавиться в стенку вагона.

— Надь, заслони меня, — шепчет Варвара Алексеевна, и сестра, всхлипывая, загоразивает ее.

— И ты отлезь от двери... — шипит на Гришу Машина мама, но подросток, как замороженный, смотрит на приближающихся стариков.

— Мальчик, мальчик, вы, кажется, Токарь?! — радуется доктор, будто Гриша ему внук, а не однофамилец.

— Вы Токарь, мальчик? — повторяет докторша, а Гриша, словно его рот опечатан сургучом, только кивает.

— Арон, ты прав! Это Токарь!.. Он сейчас нам скажет, где Бронечка.

Но Гриша не может ответить: „Она здесь”, потому что он уже представил, как Варвара Алексеевна швырнула их рюкзаки на угольную землю и его с Надькой вытолкнула следом. И неожиданно для себя мальчик шепчет, как заклинание:

— Кто-нибудь, помоги! Помоги, кто-нибудь... — И поезд в самом деле дергается, колеса стучат о стыки рельсов, теплушка подрагивает, а старики Токари испуганно застывают внизу и смотрят на мальчика с немим укором.

„Так вот как было!.. — мрачнеет старик и злится на жену: — Зачем подсунула рукопись? Подождала бы, пока Варвара Алексеевна помрет. Поздно сво-

дить счета с приговоренной. А Машенька?.. Что ж, Машенька была ребенком. Безжалостно тыкать меня в это! Что теперь могу изменить? Да и можно ли верить Гришке?..”

Старик затравленно глядит на жену, но теперь она вся в работе. И вдруг звонит телефон. Павел Родионович считает звонки и прислушивается, с прежней ли скоростью печатает Женя. На одиннадцатом звонке она не выдерживает. Берет трубку.

— Да...

— Оглохла или ночи мало?!

Старику чудится, что голос дочери выгалкивается не из черной пластмассы, а из Жениного рукава.

— Тебя...

Женя оставляет трубку на тахте.

— Что молчишь?! — кричит Машенька. — Мама умерла!

— Прости, девочка. Я сейчас... Прости...

Павел Родионович хочет что-то добавить, но мешкает, краснеет, недовольно смотрит на Женю. Она печатает. Но тут в аппарате коротко гукает, и старику становится легче.

— Я поехал. Варвара Алексеевна скончалась, — роняет он с предельной сухостью.

— Господи, Пашет...

Женя стоит перед ним, уже не моложавая, а испуганная, пятидесятитрехлетняя.

— Пашет, поедem вместе...

— Сиди дома.

Или взять, чтобы не печатала? Старику кажется, что теперь Женя должна уничтожить Гришкины мемуары. Однако закладка торчит в каретке, тетрадь раскрыта, и свежая стопка страниц по-хозяйски улеглась на секретере.

— Сиди. Я сам... — Смотрит на жену и пугается, до чего же она постарела. — Одному легче, — добав-

ляет с жалостью, и Женя начинает молодеть, словно обратным поездом возвращается в Сибирь сорок пятого года.

— Бедный Пашет, — прижимается она к нему, снова та самая, родная, ежедневная, какой бывает спросонья, и на ночь, и по субботам, воскресеньям и праздникам — сутки сплошь, пока он глядит на нее глазами любви, не замечая ни лет, ни морщин, ничего, кроме этого дорогого лица, что стареет лишь в минуты ссор, когда ожесточается зрение и оскудевает память.

— Подожди. Я скоро вернусь. Сегодня тебе туда не стоит. Она... — старик нарочно не называет дочь по имени, — не в себе...

Но выйдя на улицу, Челышев понял, что не хочет видеть ни Броньку, ни Машеньку.

„Лучше бы меня убили на войне...” — сказал в сердцах. Но в строительной части потери были невелики, и Челышева даже не царапнуло. Впервые ему везло. Даже в том, что их часть, как две соседних, не двинули в Югославию, угадывался знак фортуны. Ведь в Югославии жил Клима. Должно быть, жил, потому что Климу едва ли тогда перевалило за шестьдесят. Но инженер-капитан Челышев десятки раз четко выводил в анкете: „Родственников за границей не имею”. И, стало быть, Клима не существовало.

Итак, Европа, вместо осложнений с отделом кадров, обещала почти райскую жизнь и обильные радости.

И вдруг в марте пришло письмо от Машеньки.

„Пап, долго не писала — не хотела тебя расстраивать. Много ли ты мог из своего прекрасного далека? Но больше нету моего терпения. Мамка на-

позволяла себе такого, что скоро будем сухари сушить. Есть у нее муж без штампа. Он ко мне лезет, а из него, бывшего партизана, песок сыпется... Пап, заведи меня к себе. Если у тебя есть „пепежёнка“, не страшно. Я понятливая. Мы с ней поладим. Крепко целую. Маша”.

Первая мысль была — проситься в отпуск.

— Мы не немцы. Нам не положено, — помрачнел командир части, который уже дважды командировал себя к основной жене в Горький, а в армии завел краткосрочную. Изнуренный двоеженством, алкоголем, преферансом и страхом всевозможных ЧП, подполковник пускать Машеньку в часть тоже не захотел.

— Да что ты, Павел Родионович?! Она чихнуть не успеет, как ей устроят „хор”*. У нас народ отчаянный. Учится дочка? Ну и пусть себе учится.

Однако инженер-капитан упорствовал, и, не желая ссориться с офицером, работавшим за четверых, подполковник, скрепя сердце, подмахнул рапорт. Документы были высланы, но Машенька не ответила.

Старик выбрал самый окольный путь: влез в троллейбус, потом пересел в автобус, затем опять забрался в троллейбус, а обида все не проходила. Он по-прежнему не был готов к Бронькиной смерти. К Смерти с большой буквы, как говаривал Клим. Клим даже слово С М Е Р Т Ъ писал заглавными и в разрядку.

Наконец, войдя в старый унылый московский двор, Челышев поднялся по обшарпанной черной лестнице на второй этаж и увидел незапертую

* Групповое изнасилование (блатн.).

дверь. Стало быть, из морга не приезжали и его транспортные хитрости ни к чему... Толкнув дверь, старик оказался в тесной, служившей одновременно прихожей, кухне. Зять сидел за столом и что-то писал. Заметив Челышева, он вскочил, худой, все еще стройный, и крикнул с неподобающей радостью:

— Маша, Пашет прибыл!

— Не ори, — шикнула дочь, выходя из комнаты, и старик увидел между стеной и желтой ширмой кровать с чем-то, прикрытым ветхой простыней.

„Никаким криком ее уже не разбудишь”, — подумал он, но приближаться к умершей по-прежнему не хотелось.

— Явился — не запылится? — усмехнулась Мария Павловна, очевидно, догадываясь о чувствах отца.

— Такси в субботу не поймаешь, — сказал зять, пытаясь защитить тестя.

— Мы с Гришеком абсолютно выжаты, — зевнула Мария Павловна. — Если б маму увезли, ты бы нас не добудился.

— Пойдем к ней... — пересилив себя, пробормотал старик и хотел обнять дочку.

— Устала, — отстранилась Мария Павловна и первой вошла в комнату.

Старик опустил на стул, радуясь ширме как передышке.

— Вот так-то, Пашет... — вздохнул зять, усаживаясь по другую сторону обеденного стола. Комната была большой, метров тридцати. И оттого, что вещи в ней теснились разнокалиберные: полированный письменный стол, старый дубовый буфет, облезлый фанерный шкаф, детский красный диванчик и еще теперь ширма, мебель казалась реквизированной, а комната — необжитой. Хотя здесь не только жили, но даже умирали.

— Папа, иди, — позвала из-за ширмы Мария Павловна, но тут же раздалось два звонка, зять вскрикнул: „Наконец-то!” и побежал к двери. Однако вместо санитаров в комнату вошел молодой человек с мушкетерской бородкой и вьющимися каштановыми локонами. Старик вспомнил, что уже мельком встречал его у дочери и тогда же зачислил в ее аманты.

— День добрый, Павел Родионович! — расплылся в улыбке вошедший, словно не здоровался, а дарил себя. — Здравствуй, старенький, — обнял он Токарева. — Варвара Алексеевна?.. — вздохнул многозначительно. — Ну, ничего, ничего...

— Умерла... — всплакнула Мария Павловна и положила голову на плечо гостя.

— Пойду к ней, помолюсь. Ничего, Марьюшка... я сам... — и, мягко оторвав от себя хозяйку, бордатый скрылся за ширмой.

„Старается, — подумал старик. — Старается, хотя и не поп...”

— Хорошее лицо... Светлое... — сказал, возвращаясь, гость. С удовольствием, словно возле закуски, он потер ладони и обнял Машеньку.

— Руки вымойте, — вскрикнул старик.

— Опасаетесь мертвых? — улыбнулся гривастый. — Их, Павел Родионович, не надо бояться. Они уже не здесь...

„А как же „светлое” лицо, если „они не здесь”?” — хотел спросить Чельшев, но сдержался. Он страшился не вообще мертвых, а только Броньки. Он все еще не любил ее, как живую.

„Нет, никакой он не священник, — подумал снова старик, глядя на молодого человека. — Чистая самодеятельность. Сам себя попом назначил. Священник — не только профессия или должность. В России это еще и судьба. Ей-Богу, в том, что Клим рас-

стригся, было больше веры, чем в обращении этого пиджона...”

Гость закурил длинную сигарету. Этим он тоже не походил на чельшевского дядьку. Клим начинал гильзы домашним самосадом. Какие доходы у кладбищенского попа?! Бородатый же одет был по последней моде: в заокеанские джинсы, в замшевый пиджак.

„Однако морг не торопится, — вспомнил старик о санитарях. — Хорошо бы прибыли раньше, чем Машенька позовет меня за ширму...”

Между тем длиннокудрый, развалясь на стуле и уже забыв о новопреставленной, напустился на римского папу и католицизм. Дескать, сатанинская вера, отвергает народное чувство и прельщает одних гордецов... Токарев настороженно слушал, а Машенька снова ушла к Варваре Алексеевне.

„Сейчас меня кликнет, — подумал старик. — Любите ненавидящих вас... Давняя песня... Броньку — не могу...” — И, не зная, за что зацепиться по эту сторону ширмы, старик перебил гостя:

— Православие, молодой человек, не защитило нас от монголов. Кто знает, вдруг спасло бы католичество. Говорите, оно не народное? Однако народ за ним пер, и сила у католиков была. Когда орда на Россию валила и наши священнослужители не помогли князьям выстоять, на западе патеры собирали бездельников отвоевывать Гроб Господен, и те как миленькие шли! А если бы князья отбили татар, то целых семь веков Россия не знала бы проклятия азиатчины. Люди устроили бы себе „Хабеас корпус”, а не сельский мир или чертово общежитие.

— Католичество в России!? Только этого нам не хватало! — Мария Павловна выглянула из-за

ширмы. — Умерла мама, а ты боишься к ней подойти и мелешь черт-те что! Даже в такой момент хочешь подковырнуть: не туда, мол, крестилась. Или считаешь, что каждому надо молиться в своем углу? Мне — по бабке — в костеле, а Гришеку — в синагоге? А что он забыл в синагоге? Он русский. Он лучше вас всех! Это он, а не ты, открыл мои глаза... — вдруг набросилась Мария Павловна на гривастого гостя.

— Что ты, Марьюшка? Разве я спорю? — покраснел длиннокудрый, и старик лишней раз утвердился в своих подозрениях.

— Гришек лучше всех... — заплакала Мария Павловна и снова ушла за ширму. Но, сев на узкой кровати в ногах матери, Маша подумала, что зря сейчас кричала. Не так уж она опечалена смертью Варвары Алексеевны. Никогда она свою мать не любила. Жалеть — жалела, да и то недолго.

Правда, поначалу мать была для девочки загадкой. Красивая, величавая, настоящая дама, она почему-то предпочла мужу-инженеру утильсырьевщика Константина Ивановича. Женщины во дворе объясняли: любовь! Но это с детства волшебное слово никак не вязалось с опухшим от водки лодырем. Маша знала, что мать — подкидыш и что подкидыши — особенные. Они обыкновенных людей недолюбливают и тянутся к отверженным натурам. Не потому ли мама опекала непутевую сестру Гришека Токаря?

Когда началась война, мать совсем потеряла голову. Дрозд не хотел эвакуироваться, и она сама едва не осталась. Но вдруг перерешила и, вместо приемных родителей, взяла в теплушку других Токарей.

— Вагон не резиновый, — объяснила она Маше. —

Тут надо или — или... Кто для родины перспективней? Молодые, полные сил, или которые без одной минуты в гробу? Поняла? Вот и не канючь. Ни те, ни эти мне не родичи, и я поступаю по-справедливому.

В эвакуации Маша быстро вытянулась, повзрослела и на пятнадцатом году выглядела совершеннолетней. На нее оборачивались. Демобилизованного после контузии географа она одним прищуром своих светло-зеленых глаз на пол-урока лишала речи. Крутившаяся возле танцплощадок и кинотеатра шпана считала Машу „своей в доску”. И только сожитель матери, бывший красный партизан и нынешний ее начальник Михаил Степаныч не обращал на Машу внимания. А Челышевы поселились у него. Считалось, что красный партизан проявил высокую сознательность и самоуплотнился. Два его сына были на фронте, а жена перед войной уехала погостить к родным и застряла в оккупации. Михаил Степаныч теперь запирался с Машиной мамой в двух своих смежных комнатах, оставив Маше просторную кухню.

Казалось бы, какое дело Маше до материнского хахала? Не думать бы о нем вовсе. Да она и не думает. Что ей начальник УРСа*? Она сыта и одета не в пример многим сибирякам. Но уж слишком сердита Маша на Варвару Алексеевну. Зачем сошлась с красным партизаном? Ведь нисколечки его не любит. Просто сама норовит пролезть в начальники, чтобы возле ее кабинета тоже сидели секретарши и чтобы к ней на прием записывались вперед за целую неделю. А она, Машина мама, когда захочет, выпишет кому-то кило пшенки или валенки, а когда

* Управление рабочего снабжения.

дурь найдет, откажет. Нравится матери помыкать необеспеченными и несчастненькими.

Но ведь если приглядеться, то Варвара Алексеевна не такая уж и красивая. Маша несколько ее не хуже. И ростом выше, и стройней. И глаза у Маши светлее. У матери они темные от озабоченности, потому что вечно она о своей выгоде печется. Маша запросто может отомстить Варваре Алексеевне. Она ей по справедливости докажет, что мать на самом деле — дрянь. Зачем отца бросила? Зачем бабу и деда немцам оставила? Пусть ей за все отплатится...

И вот Маша начала исподволь состязаться с Варварой Алексеевной. То бурным смехом встретит глупую шутку ее хахаля, то восторженно уставится на него, будто он не бывший партизан, а сегодняшней, молодой и бравый. Ее старания не прошли впустую. Михаил Степаныч что-то учуял, насторожился, и вскоре уже не поймешь, кто за кем охотится.

Тут бы и оборвать. Ведь большего не нужно. Но Маша заигралась, и проба юных чар заводит ее чересчур далеко. Однажды, обезумев, материнский хахаль сажает ее к себе на колени. Маша яростно вырывается, но всю следующую неделю с замиранием сердца и ужасом ждет, чтобы красный партизан снова на нее набросился.

Все у них происходит молча. Варвару Алексеевну Маша теперь ненавидит. Иногда девушке чудится, что мать обо всем знает, но смотрит на это сквозь пальцы. Мол, где тебе, дурехе, со мной тягаться? Ладно уж, пусть Михаил Степаныч тебя полапает. С него не убудет...

На самом деле Варвара Алексеевна ни о чем не догадывается. Ее сожитель заскакивает домой днем. Его автомобиль торчит возле какого-нибудь

учреждения, а сам начальник УРСа трусцой перебегает двор и пыхтя взбирается на свой этаж. Маша давно сбежала с уроков. Вот она слышит на лестнице грузные несмелые шаги. В замке поворачивается ключ. Маша стоит в кухне и шепчет, как заклинание:

— Гад-сволочь, сволочь-гад...

Сама к Михал Степанычу она не кинется, а он проходит в комнаты, что-то там ворошит, двигает, хотя времени у него — считанные минуты.

Маша все нетерпеливей шепчет: „Гад-сволочь...” Но партизан ведет себя так, словно в квартире пусто. Наконец он возвращается в коридор, вертит поводок в замке. Вся пылая, Маша прижалась лбом к холодной меди водопроводного крана. Ну, кто кого?!

И тут партизан толкает кухонную дверь...

„Веселые были игры...” Мария Павловна вздрагивает за ширмой. Ей кажется, что она сидит возле мертвой матери целую вечность. Но по ту сторону ширмы спор только еще разгорается.

— Конечно, Православную Церковь можно винить, что она не объединила князей для отпора татарскому нашествию, — говорит Машин друг. — Но согласитесь, Павел Родионович, что это взгляд прагматический и поэтому русскому сознанию бесконечно чуждый. Монголы были русской голгофой. Их ниспослали России во искупление ее грехов. Всякий иной взгляд не только кощунствен, но даже абсурден. Монголов было меньше, чем россиян, и если бы не Предначертание, русские отбросили бы азиатов.

— Как мадьяры и чехи? — спрашивает Чельшев.

— Примерно... Но России был открыт иной путь.

А чехи и мадьяры, отогнав монголов, закоснели в своем бургерски-желудочном полугрехе.

— И за это их впоследствии утюжили танками?

— Мы говорим о другом... — хмурится гость.

— Папа, не богохульствуй! — кричит из-за ширмы Мария Павловна, и старику становится не по себе.

Всего лишь полгода назад Машенька публиковала статью в журнале „Наука и религия”, и сколько Павел Родионович ни убеждал ее, мол, непорядочное это дело, Машенька небрежно отмахивалась: дескать, религия — всего лишь размягчающий мозги обман. Поэтому можно, не кривя душой, опровергать ложь Церкви. Да и о чем другом сегодня напишешь честно? „Далась тебе Церковь! Что ты в ней оставила?” — вздохнул тогда Чельшев и напомнил анекдот: пьяный ищет под фонарем рубль. „А где его посеял?” — спрашивает прохожий. „Под забором”. — „Зачем же здесь ищешь?” — „А тут светло...” „Вот все вы так, — добавил от себя старик. — Пишете не о том, что наболело, а о том, что позволено. И это еще самые честные...”

Так обстояло дело всего полгода назад. А теперь длинноволосый приятель дочери бубнит:

— Счастье России, что Владимир принял православие...

И старик сердится: „Лучше бы она спала с ним без религиозных диспутов”. Но, очевидно, без диспутов Машенька уже не могла.

— А Владимиру ничего другого не оставалось, — роняет старик. — Все заранее было predetermined, только не Небом, а вполне низменными обстоятельствами.

— Какими, Пашет? — спрашивает зять.

— Гео-гра-фи-ей. Днепр с севера тек на юг, то есть из варяг в греки. Куда товар везли, оттуда и Церковь вывезли. Кроме Византии, некуда было по-

даться. К католикам же рек нету. На запад — леса да Карпаты. Даже татары туда не прошли.

— Географически, возможно, вы правы, — соглашается гость. — Но ведь география тоже предначертана... Почему, Павел Родионович, вы так равнодушно, даже без намека на боль, выводите русскую планиду? По-вашему, мы народ без альтернативы?

— Вовсе нет. Просто, когда запаздываешь, дорогу выбирать некогда. Вот если бы Господь соблаговолил расположить Россию в Эгейском море или на Адриатике, тогда бы дело пошло веселей. А Он засунул ее в снега да в чащи, где один путь — по воде. Вода же текла в Византию... С тех пор сколько ни прорубаемся, в Европу не пробьемся. А на восток и удобней, и спокойней. Перед монголами и китайцами за отсталость не стыдно.

— Станный у вас патриотизм. Извините, Павел Родионович, но мне кажется, у вас на душе что-то тяжелое... Если позволите, приеду побеседовать. Может быть, помогу...

„Он со мной, как психиатр”, — усмехается старик. — Всегда рад, — отвечает гостю. — Но и при ребятах можно.

— Разумеется, Марьюшка и старенький — нам не помеха. Но вы сегодня нервничаете. Вас испугала смерть.

— Она ко мне ближе.

— Никто не знает своего часа. Так что не бойтесь ни смерти, ни мертвых.

„Каков сопляк! — злится Чельшев. — Не бойтесь мертвых!” Не пугался их однажды Пашка Чельшев. Была такая неделя в покойницкой. Только тот нестрах весь держался на грехе. „Но если есть грех, стало быть, есть Бог...” — говорит себе старик, и неожиданность вывода его смущает.

В коридоре раздался протяжный властный звонок, не оставлявший сомнений: за трупом. Однако в комнату ввалился светловолосый детина в железнодорожной форме. Рослая Машенька была ему по плечо. Минуты две она обнимала красавца и плакала, а потом железнодорожник протянул длиннокуд-рому руку и назвался:

— Челышев. Виктор.

Длиннокудрый недоуменно посмотрел на старика: как, мол, вам, Павел Родионович, удалось взрастить такого викинга?

— Однофамилец, — усмехнулся старик.

— Папа, прекрати паясничать! — накинулась на отца Мария Павловна.

— Ну и однофамилец. А вам жалко? Да? — насу-пился викинг.

— Что вы, что вы, Виктор? — Длиннокудрый опустил отчество, заподозрив некую семейную тайну.

— Мы не ждали, что ты так быстро. Тебя по селектору вызвали? — спросила Машенька.

— Ага. Мы с утра пошли под разгрузку, а холодильник не берет. Ну, я сразу к вам...

— Виктор возит мясо, — сказал Токарев.

— Кормите столицу? — ласково спросил гривастый.

— Кормим.

— И себя не забываем, — усмехнулся старик.

— Папа, я тебя выгоню... — пригрозила Машенька.

— Ну что ты, Пашет, в самом деле? — покраснел зять.

— Пусть его болтает... Я что, голодающий, да? — обдал старика презрением железнодорожник. — Нужно мне мясо? Я на севере, да? Вот мы тут недавно у Белого моря сгружались, так там вправду смех был. Вся станция высypала глядеть. Я одного

старого хмыря пытаю: „Чего глаза вылупил? Туш мороженных не видал?” А он мне нахально: „Когда-то видел, а больше не увижу. Каким счастливым везете?” — „Наряд, — говорю, — на зверофермы. Песцы пшеничных концентратов есть не могут”. Ну, он тут стал мне шурухтеть: „Людей, падлы, не кормите, а животным не жалко”. Тогда я взял его за грудки и спрашиваю: „Да какой с тебя, папаша, мех?” Х-ха, — засмеялся викинг.

„И я должен слушать байки этого мурла?!” — подумал старик. — Пойду, — сказал он и поднялся. — Санитары, может быть, вовсе не приедут...

— А ты что — здесь ради них? — вспыхнула Мария Павловна.

Старик побагровел от стыда, но, боясь перерешить, заковылял к дверям.

— Сядь! Папа, сядь на место! Ах так?! Ну ты у меня попомнишь! Ты у меня в ногах поваляешься! — закричала Машенька.

— Маша! Пашет! — Григорий Яковлевич выбежал в кухню, но старик уже спускался по черной лестнице.

— Чудак, ну куда ты от нас денешься? — сказал Токарев и воротился в комнату. Мария Павловна, всхлипывая, опять обнимала железнодорожника. Токареву стало скучно, захотелось, чтобы поскорей увезли тещу и он мог бы с чистой душой отлучиться из дому.

Марии Павловне тоже не терпелось рассеяться. Но сейчас уйти было некуда. Разве что в прошлое...

В последнюю военную зиму в нее были влюблены не только старшеклассники мужских школ, но даже ходячие раненые из госпиталей. Сам Валяба-Бокс, двадцатилетний главварь городской шпаны,

непонятно, за что освобожденный от фронта, называл Машу „звездой счастья”.

Но вот однажды в шахтерском клубе Маша наткнулась на Гришека Токаря. Они не виделись три года. Надька изредка навещала Варвару Алексеевну, но Гришек Челышевых избегал. Очевидно, не мог простить, что бросили стариков. А ведь если б не бросили, не жить Гришеку в этом сибирском городе и не кружить бы сейчас в вальсе очкастую тетеху. Тетеха была в платке, телогрейке, в ватных брюках и валенках. С виду — сторожиха или разно-рабочая. Но Маша догадалась, что это — жиличка Токарей, недавняя лагерница.

Ясно было, что по своей воле Гришек Машу не пригласит. А почему-то захотелось проплыть с ним по этому душному, сырому бараку. Гришек очень переменялся, вытянулся и не то чтобы повзрослел, но стал каким-то грустно-красивым, совсем непохожим на Бокса, его корешков и на этого бугая красного партизана! Почему она с ними, а не с Гришеком? С Гришеком все было бы по-иному, и сама Маша стала бы другой, не как сейчас: развязной, грубой, ненавистной самой себе. Было в Гришеке что-то жутко незащищенное. Пожалеть его хотелось. Такой худенький, некрепкий, вовсе для сибирской жизни негодный. Однако, не тушуясь, Гришек прижимал к себе нищенку и ничуть ее не стыдился.

„Конечно, честная бедность и все прочее...” — усмехнулась Маша и тут же вообразила, как сдрейфит сейчас очкастая, когда Маша на виду у всех обнимет Гришека.

— С этим мальчиком я когда-то дружила, — сказала она Боксу, тотчас поверив, что так оно было на самом деле.

— Слабец. Соплей перешибу, — буркнул Валяба.

— Только попробуй!

— А что пробовать?

Но Маша уже решила. И едва однорукий зав клубом объявил: „Последний танец — белый вальс! Приглашают дамы!“, она подбежала к Гришеку и с вызовом взглянула на очкастую. Та угрюмо потупилась, будто поняла, что белый вальс миром не кончится. И впрямь — Валяба и его дружки, угрожающе покачиваясь, уже поползли из барака в тамбур.

„Ну, Гришек, как чувствуют себя твои чистота и честность?“ — чуть не спросила Маша. Она сердилась, что он оробел, ведет ее как деревянный, даже наступает ей на лодочки. А только что свою очкастую кружил не без форса. „Гордый, а трусоватый... Неужели я его не расшевелю?!“ Маша вдруг, наперекор музыке, поволокла Гришека в угол, где на стуле висел ее армейский полушубок и стояли высокие, обшитые кожей, белые бурки.

— Помоги, — протянула Гришеку фетровый сапог. — Плохо налазит.

Несмотря на простоту военных нравов, Гришек покраснел, руки у него дрожали. Но Маша сияла. Теперь и очкастая, и Валяба со шпаной видят: Гришека трясет не от страха, а оттого, что Маша такая красивая.

„А я вправду красивая, — подумала она. — Ведь не сравнить же меня с их жиличкой?! Только бы Гришек в тамбуре не осрамился. Пусть хоть полминуты продержится, а там я его выручу. Я цыкну на Вальку, и он отлезет. Бокс со мной как шелковый...“

Прошипев иглой по бумажной наклейке, кончился вальс, и сторожиха с инвалидом стали выгонять танцоров из теплого барака в мерзлую ночь, где ничего не было, кроме пустого поля и жутковатого

скрипа. Очкастая с удрученным, низко замотанным лицом ждала у двери, и Гришек промямлил:

— Жека, познакомься. Это — Маша Чельшева...

Маша в ответ едва кивнула. В барашковой кубанке, в полушубке, стянутом кожаным ремнем, она казалась себе фронтовой девахой. Даже неловко было стоять рядом с этим чучелом в стеганых брюках.

— Выйдем поботаем*... — зевнул Бокс и лениво взял Гришека за ворот пальто.

„Оторвет...” — испугалась Маша, сначала пожалев не Гришека, а его ветхое осеннее пальтишко.

— Валька, не смей! — крикнула она без всякой угрозы. Бокс молча кивнул прилипалам, и они медленно, как бы тоже нехотя, стали крутить Маше руки.

— Гришек!.. не бойся!.. пугает!.. ничего не будет!.. — захлебываясь, орала Маша: вдруг кто-нибудь смелый прибежит?

— Двигай. Чо стал? — равнодушно, будто не слышал, как вопит „звезда счастья”, повторил Бокс и толкнул Гришека, но вдруг сам отлетел к стене.

— Только тронь, — мертвым голосом сказала очкастая и заслонила собой Гришека.

— У, припадочная... — промычал Валяба. — В рай захотела? Это счас. Это мигом... Покажь, куда пырять. Расстегнись. Чо через вату?..

В его руке чисто блеснула финка, больше похожая на хирургический, чем на бандитский нож. Маша съежилась, но тетеха даже не моргнула.

— Гнида, — бросила она Боксу, будто нарочно его подзуживала.

— Цыц, лярва! — взвизгнул Валяба, и Маша поня-

* Поговорим (блатн.).

ла: ему не по себе. Когда в руке финка, не подерешься, а на „мокрое” духу не набралось.

— Гнида... пидер... — повторила очкастая и вдруг так длинно и заковыристо матюгнулась, что Валябины подонки заржали, а Гришек оторопел. Женщина, брезгливо морщась, глядела на Валябу, словно перед ней и впрямь была свежая куча дерьма.

„Зарежет, — зажмурилась Маша. — Психопатка, специально нарывается. Она оттуда... Ей на себя плевать. Ей лишь бы меня опозорить. Показать Гришкеку, кто она и кто я... Сейчас Валька ее пырнет...” И вдруг Машу словно озарило:

— Валька! — закричала она с остервенением надежды. — Ты слепой? Не видишь? Она же — наша, лагерная...

— Чо, бля, молчала? — обрадовался Бокс. — Замоталась, как монашка... Видик хезовый... И у фраера твоего — тоже... Ладно, гуляйте... — Он помахал им финкой, уводя своих блатарей и „звезду счастья”.

Часом позже, содрав ледышкой со щек липкие Валябины поцелуи, Маша ворвалась домой и рыдая накинулась на мать и ее сожителя. Они ошарашенно моргали, а Маша кричала, что эта гнида, этот гад-сволочь лезет к ней, лапает ее каждый день, а мать ничего не видит или притворяется, чтобы гад-гнида-сволочь ее не бросил.

Наконец Маша заперлась в кухне, куда из далекой запроходной комнаты до нее долетали приглушенные вскрики. Но Машу уже не занимало, как Варвара Алексеевна расправится с красным партизаном. Даже неясная догадка, что мать беременна, не тронула девушку. Маша решила уехать к отцу.

Воскресное утро было голубоватым, наподобие замерзшего молока. Снег весело поскрипывал, буд-

то радовался, что Маша оставляет ему на память красивые отпечатки своих ступней. На почте в окошечке сыскался кусок оберточной бумаги. Перо цеплялось за ворсинки и брызгало блеклыми, бессовестно разбавленными чернилами. Но сегодня это не раздражало.

„Коротко и четко, — твердила себе Маша. — Чтобы не раздумывал, а сразу слал вызов”.

Она сложила письмо треугольником и кинула в высокий гербовый ящик. Все вчерашнее неожиданно отдалилось, и Маша спокойно побрела домой, готовая к ругани, швырянью кастрюль, даже к побоям.

Но встретили ее на удивление мирно. Мамаша и ее сожитель притворно улыбались. Из кухни в проходную комнату был перетащен и накрыт скатертью стол, а за тарелками дымящихся и холодных закусок, за графинами и бутылками девушка разглядела седого красавца с молодым, почти мальчишеским лицом. Он поднялся, и Маша даже растерялась, до чего он худощав и строен. Совсем как Гришек. Но шире в плечах, и костюм на нем умопомрачительный, а рубашка какой-то необыкновенной голубизны. Маша зажмурилась, будто хотела отогнать сон. Но неназойливое февральское солнце ровно освещало комнату. Стол утопал в съестном изобилии, а седой красавец, обойдя завалы еды и питья, ласково прижал Машину голову к своему серому, московского или даже иноземного шитья, пиджаку.

„Не напори я тогда горячки, не была бы Женька моей мачехой”, — сокрушалась впоследствии Мария Павловна.

Но в тот февральский полдень ей было не до Женьки Кныш. Комната, как палуба, казалось,

легла на бок, и Маша вся заскользила к седому красавцу. „Что со мной?“ — радовалась она, без всякого страха припоминая свои беды и несчастья. „Ах да, мамаша и ее гад-гнида... Ну и что? Какое мне до них дело, когда этот человек на меня смотрит. Смотрит, улыбается и все понимает. Он уже догадался, что со мной... А раз догадался, то спасет. Не может быть, чтобы такой не спас! Он увезет меня. Он все может. Я слышала о нем еще до войны. Никогда бы не поверила, что будем сидеть вот так рядом. Зря я написала отцу. Правда, письмо может затеряться. Но отец все равно вызова не пришлет. Он такой нерасторопный. А москвич очень красивый. Если бы я верила в Бога, я подумала бы, что Бог хочет меня спасти! Или погубить. Но какая разница? Мне все равно — спастись или погибнуть, лишь бы с этим человеком. Меня словно втягивает в него, а схватиться не за кого! Но я даже не хочу за кого-то цепляться. Я хочу быть с ним...”

Тут гость стал прощаться, и Маша выскочила за ним на лестницу, где рыдая выложила ему все о матери, материнском хахале и шпане. Москвич увез ее к себе в горкомовский номер, и пять суток они были неразлучны. Маша ходила за ним, как привязанная. Сидела в зале, не сводя с него счастливых глаз, если он выступал перед шахтерами, металлургами или ранеными. Если же держал речь на узком партактиве, терпеливо ждала в приемной, не обращая внимания на заносчивых стервозных секретарш.

Раньше Маше казалось, что она самая главная, и все и всё как бы вращается вокруг одной Маши. Но вот возник мужчина куда ее важней. Их даже сравнить нельзя! Но это не задевает Машину гордость. Наоборот. Она ради москвича готова затоптать себя в землю, стать ничем, только чтобы он, седой краса-

вещь, был с ней. Он такой огромный, что не только прикрыл Машу от напастей. Он весь свет собой заслонил. Маша о Боксе, о матери, о партизане уже и думать забыла. Так ей сейчас чудесно. Так здорово, так замечательно, что даже страшно. Голова кружится, как возле пропасти... Потому что между Машей и этим человеком самая настоящая пропасть. Ночью Маша прирастает к москвичу, стискивает его так, чтобы нельзя было разобрать, где она, где он... А все равно между ними — *пропасть*...

Это потому, что москвич для нее — все: мечта, надежда, будущее, сегодняшнее, спасение и главная ставка жизни, а она для него — случайная девчонка. Не было бы Маши, подвернулась бы другая. Скажем, одна из этих крашенных горкомовских стерв.

Порой Маша напоминала себе первомайскую девочку, что приносила Сталину цветы на трибуну мавзолея. Выберут смазливую пионерку, снимут для кинохроники и „Огонька”, на несколько дней одурачат всесоюзной славой и забудут навечно.

Что ж, Маша ко всему готова. И не себя ей жаль, а этого сорока с чем-то летнего юношу! Зачем он столько пьет? Неужели не чувствует, какой он замечательный? Ведь он убьет себя пьянством. Неужели не может остановиться? Никто его не понимает. Даже московская жена. Он с ней, наверное, совсем одинокий. Иначе бы так не пил и не сходил с чужими женщинами. Хотя они сами к нему липнут. Он только мельком на них взглянет, а они уже согласны и пользуются тем, что он под мухой. Ну как спасти его от пьянства?! Вот если бы Маше это удалось!.. Как бы он был ей благодарен и как бы за это ее полюбил. Ему было бы с Машей так хорошо, как никому еще на свете не снилось...

Но вот москвич улетел на военном самолете, и

Маша покорно побрела с заводского аэродрома к себе домой. Там было не до нее. Мать, распухшая от слез, обвязав голову полотенцем, слонялась по комнатам, словно уставшая ведьма. Материнский хахаль валялся на диване с грелкой и напоминал футбольный мяч, в котором лопнула камера. Даже пинать его не хотелось.

Через два дня обоих арестовали.

Выскочив от дочери, старик растерянно остановился на бульваре. Ехать к жене не хотелось. „Советский мужчина, — передразнил он Женю, — утром не желает идти на работу, а вечером — домой”. Что ж, визит к покойнице оказался тяжелей давно оставленной службы, а дома старика ожидало перестукивание токаревских мемуаров.

„Выбора, как всегда, нет”, — поморщился Челышев, и даже московский пышнозеленый бульвар показался ему фальшивым, словно кроны деревьев были смочены не дождем, а нарочно, как рыночный салат, побрызганы из шланга.

„В кино, что ли, податься? Или вся наша жизнь — сплошной кинематограф: смотри лишь то, что покажут?” — усмехнулся старик и побрел в сторону дома, до которого было километров пятнадцать. Выбора не оставалось.

... Выбора не было никогда. Даже восьмого мая, когда солдаты всю ночь дырявили ракетами мадырское небо. Челышев тоже салютовал парабеллумом и смахивал с глаз счастливые слезы, а утром подал рапорт о демобилизации. Надо было мчаться в Сибирь — выяснять, что с Машенькой. Дочка как в воду канула.

Бумага ушла своим ходом. Но тут же поползли слухи, будто их часть перебросят на Дальний Во-

сток, и в конце концов слухи перегнали бумагу; офицеров переселили из частных квартир в казармы, а потом все погрузились в теплушки и покатали назад — через Европу к такой-то матери...

„Пржевальский, — подтрунивал над собой Чельшев. — В юности в Америку не рванул, что ж, качайся на нарах, казенный путешественник...”

Но когда за Уралом прочно стали, пропуская танки и артиллерию, инженер-капитан сбегал в штабной вагон, выпросил пять суток отпуска и вскочил на проходившую мимо платформу с зачехленной зениткой.

... Бронькин город лежал километров на пятьсот южнее Транссибирской магистрали. Выйдя из грязного пульмана местной линии, Чельшев очутился на металлургической планете, замысленной Сталиным в конце двадцатых годов. Солнце заходило за исполинские домны и мартены, как бы намекая капитану, что в этом цивильном городе он чуть ли не самый распоследний человек. Если с Машенькой стряслась беда, фронтом здесь не поковыряешь.

„Переночевать и то не пустят”, — усмехнулся капитан и в невеселых мыслях подошел к серому семиэтажному, очевидно, самой предвоенной постройки, дому. Облицованное снизу гранитом здание выделялось среди трех- и четырехэтажных оштукатуренных или красного кирпича барачков, схожих с теми, что Чельшев возводил еще студентом. „Совет Народных Комиссаров”, — подумал мрачно, не сомневаясь, что спросят пропуск. Но вахтера не было, подъемника в шахте — тоже, и осмелев, Павел Родионович по трехмаршевой лестнице поднялся, как на расправу, на пятый этаж.

Звонок задребезжал резко и нетерпеливо, словно в него давно не звонили. „Она в тюрьме...” — поду-

мал капитан, но тут же услышал медленные, тяжелые, недовольные шаги.

— Кто там? — хрипло и равнодушно спросили за дверью, будто уже ничего — ни плохого, ни хорошего — не ждали и лишь сердились, что заставляют шастать по коридору и вертеть замок.

— Открой. Свои.

Собственный голос показался капитану чужим.

Отворилась высокая, метра в три дверь, и Бронька огромным, поднятым к груди, животом ткнулась в Челышева.

— Пашка?! Откуда?!

„На свободе и к тому же на сносях“, — невесело усмехнулся он и спросил:

— Где Машенька?

— Зря прибыл. Нету.

— Где девочка?!

— Скажи лучше — блядища...

— Пристрелю! — закричал Челышев. Бронькино, помягчвшееся от желтых пятен, лицо передернуло злоба.

— Не ори! Следователь на меня рычал — не испугалась. А куда тебе, писклявому?..

Опомнившись, капитан прошел длинным коридором в комнату и увидел на второй двери большую бурую печать.

— Партизанская? — спросил с насмешкой и тут же покраснел. — Говори, что с Машкой. Вижу, тебе не сладко, но и меня пойми. Год никаких писем, и вдруг девочка просится в часть. Шлю вызов — молчание... Здорово допекал ее твой Лазо*, чтоб ему сгореть в топке!

— Убили его в камере... А дочь твоя в Москву

* Дальневосточный партизан, сожженный японцами в паровозе.

ускакала. Перевожу ей твои деньги, хоть они ей до лампочки. Знаешь, с кем она?

— Рассказывай...

— Первый ее — орел, красавец, хоть и сволочь московская. Из-за него мы и погорели.

— Ты что?! Девочке шестнадцать лет!

— А мне, вспомни, больше было?

— Она беременна?!

— Ни Боже мой. Он мужик умный, не то, что ты...

— Рассказывай о Машеньке.

— Погоди. Стучат. Значит, свои...

Шлепая надетыми на босу ногу туфлями, Бронька побрела в коридор.

— Каким ветром? Заходи. А то меня как раз убить грозятся.

— Шутите, Варвара Алексеевна. Как вам, лучше? — спросил низкий женский голос.

— Лучше, Надька, уже не будет. Если товарищ капитан не пристрелит, родами помру.

Бронька втокнула в комнату молодую крупную черноволосую женщину.

— Знакомить или вспомнила?

— Помню, — смутилась гостья. — Варвара Алексеевна, Гриша утром едет. Вы обещали колбасу. Сухую... — робко сказала она.

— Имеется. Михал Степанычу на передачу берегла. Теперь не нужна... В кухне возьми. Знаешь, Пашка, ее брат в нашу Марью втрескался, а она на него ноль внимания, кило презрения. Так он себе другую нашел. Ссылную.

— Зачем вы так, Варвара Алексеевна? Ведь знаете: между ними ничего нету. Гриша еще мальчик, а Жека такое повидала, что на мужчин смотреть не хочет.

— Да они сами, небось, на нее не больно зарятся... — усмехнулась Бронька. — Колбасу взяла? И

топай. Товарища офицера с собой заberi. Расскажешь ему, как Машка в Москве устроилась. А я устала. Лягу. Колбасу сунь ему в ситор. Или сумка есть? Ну ясно, где теперь женщина бывает без сумки? В бане да в кровати...

Заглазно воспетый Маяковским город-сад мирно сиял всеми окнами и фонарями, даже тусклогато отсвечивал пыльной листвою, но по-прежнему раздражал Чельшева. Надежда Токарь молча шла рядом. „Небось воображает, что Бронька подсунула ее мне как командировочному, — сердился Чельшев. — Ошибаешься, милая. Расскажи побыстрее, что с Машенькой, и двину на станцию. Времени у меня в обрез...”

Однако, понимая, что ничего отрадного не услышит, он не торопил женщину, а она не выказывала желаня копать в чужой жизни.

— Положение... — вздохнул Чельшев. — Без бимбера не обойдешься...

— А что такое бимбер? — спросила она.

— Польский самогон.

— У нас его нет. У нас только водка, — сказала женщина. — Но мы с Жекой как ее получим по талону, сразу на что-нибудь меняем.

— Жека — это ссыльная? — спросил Чельшев без всякого интереса.

— Теперь под амнистию попала. Нет, не уголовница... Просто срок у нее был только пять лет. За родителей пострадала. А вы, значит, освобождали Польшу? Нет? Жалко. Интересуюсь, как там. Один знакомый поляк меня с собой зовет. Нет, не фронтовик. Он в детстве об сундук ушибся и нога не так срослась. Зато руки у него золотые: шпульку мне выточил. А уж голова, как говорила моя тетя, прямо-таки еврейская. Он большой умница, но вот

не хочет здесь оставаться. Трудолюбивому человеку, считает, в СССР плохо. Говорит, у нас работать не научились. Я с ним спорю. Ведь такой был патриотизм! По двенадцать часов и дольше у станков стояли. А он смеется: это не работа, а позор. Его не переубедишь. Меня когда-то другому учили. А Альф — его зовут Альфред — считает: раз на себя работать тут не дают, то и жить здесь нет смысла. И еще он верит, что за границей ему ногу страстят правильно. Медицина там совсем другая.

— Смотрите, вы на Запад надеетесь, как на Царствие Небесное... — сказал Чельшев.

— Что вы!?! Скорей как на поликлинику. А вы тоже считаете, что родину бросать некрасиво? Я много думала, что она для меня такое. Ведь родина — это от слов — род, родня, родные. А у меня никакой родни не осталось. Один брат Гриша. Но он уже отрезанный ломоть. Он даже в паспорте Токарь на Токарев переделал, чтобы по-русски звучало. Он писателем станет. Писателю за границу нельзя. Там язык другой. А мне все равно, где как говорят. Я ребенка хочу...

„Что она со мной разоткровенничалась?“ — удивился Чельшев. Женщина начала его забавлять.

— Здешние врачи мало понимают... — вздохнула она и тут же стыдливо заторопилась: „Ой, извините... Я все про себя, а вам интересно про Машу. Вы не волнуйтесь. У нее все даже очень отлично. Конечно, по возрасту Маша еще девочка, но по виду — вы даже не поверите! — совсем взрослая. На танцах всегда была как принцесса. Вокруг нее ужас что делалось. Столпотворение.

— Бандюг?

— На танцы разный народ ходит... Варвара Алексеевна вам в сердцах лишнего наговорила. Это она от нервов. Михаил Степанович был большой чело-

век. У него две секретарши перед кабинетом сидели. А тут вдруг — тюрьма... — вздохнула женщина.

„Своего отца вспомнила, — решил капитан. — Хотя ее отца вряд ли держали с уголовниками. Допросили и тут же шлепнули”.

— Может быть, Михаил Степанович голос на них повысил, а бандиты этого не любят, — сказала Надежда Токарь.

— А за что сел?

— Разное говорят. Они с Варварой Алексеевной весь город кормили, и никто от голода не умер. И себя, конечно, помнили. Как же иначе? Это только наша мама за чужих тревожилась, а себе ничего не просила... Вот и прожила недолго. И подруга Жека такая... А все люди себя не забывают. Наверное, у Михаила Степановича были завистники. Варвара же Алексеевна думает, что его арестовали, чтобы он дал показания на своего старого друга, большого московского руководителя.

— На того, что теперь с моей дочкой?

— Ага... Но это, товарищ капитан, не так плохо. Это даже хорошо... Я когда-то была с ним знакома. Он очень веселый и сердечный человек, хотя работа у него трудная, а завистников — так целая уйма! Но он вашей Маше очень поможет. Он хотя уже не молодой, но молодежь понимает.

— Особенно девочек?

— Это жизнь, товарищ капитан... Разве лучше было б, если б Маша с уркаганами связалась? Она ведь с ними уже ходила. А так в университете учиться начнет. Вокруг нее будет много культурных знакомых. Знаете, моя Жека как без них мучается! У нее в Москве подруг пруд пруди было, а тут она только с Гришей может говорить про литературу.

Покружив неосвященными проулками между хибарок, землянок и сараев, женщина и капитан оста-

новились перед великолепной, совершенно мало-российской лужей, за которой одиноко кособочился небольшой барак. По-видимому, здесь кончался город. Вдалеке чернели одни терриконы.

— Осторожней, — предупредила женщина. — Тут положены доски.

— Что ж по́ляк, — нажал Чельшев на первый слог, — умелец, а лужи не ответит?

— Так труба тут три раза на день лопается. Альф хочет, чтобы я к нему переехала. У него комната лучше. Вот братишка уедет, и переберусь. Только сперва Жеку замуж выдам.

— Подруга важней? — улыбнулся Чельшев. Ему уже нравилась эта деваха. Отзывчивая, домашняя. С такой даже без любви век скоротать можно. Жаль, что она, по глупой молодости резвясь в Бронькином отеле, что-то в себе повредила.

— Факт, подруга важней, — печально сказала женщина. — Мы полтора года вместе. С мужем еще неизвестно, столько проживешь или нет. А моей Жеке очень замуж надо. У нее никого нет. Я уеду — она пропадет. Ей бы в первую очередь отсюда уехать. Мало что может случиться... Она второго раза не выдержит. И так сама не своя. Мечется, как синичка в клетке. Теперь в медицинский поступать надумала, потому что врачихам в заключении легче. Ой, чего-то я разболталась, а мы уже пришли...

Надежда Токарь ввела Чельшева в темный коридорчик, толкнула одну из трех дверей, зажгла свет, и капитан разглядел комнату. Посредине, перегородившая ее, возвышалась печь. Рядом с печью висела, не доставая до полу, цветастая тряпка, из-под которой высунул ноги лежак. Два других лежака выстроились по эту сторону занавески. На одном лежал старый чемодан, а между лежаками

красовалась швейная машина на самодельной подставке.

„Пóляк сварганил”, — подумал Чельшев, неожиданно позавидовав чужому уюту. Комната казалась невыносимо нищей, но все-таки напоминала людское жилье. А у капитана были всего лишь нары в теплушке, и та теплушка то ли уже отползала за Новосибирск, то ли все еще ждала на отводных путях, пропуская всех, кто главнее.

— Вы, наверное, голодный? Сейчас поужинаем, — сказала женщина.

— Пожалуй, — кивнул Чельшев и стал выкладывать из вещмешка на стол буханки хлеба, консервы, плитки пшеничного концентрата и в завершение вытащил небольшую канисторку. Хозяйка, остолбенев, смотрела на военного. Ей почудилось, что капитан сейчас наестся, напьется, а там — кто знает?! — вдруг застрелится...

Должно быть, нечто подобное мелькнуло и в чельшевском мозгу, потому что, опростав сидор, капитан поднялся с кривой ухмылкой и, схватив хозяйку за руку, крикнул:

— Где же мой несостоявшийся зять?! Не желает ли чокнуться с дураком-тестем?

„Начинается...” — с ужасом подумала женщина и уже не рада была, что притащила сюда отца этой вредины Машки. Все за Машкой ухлестывали. Даже седой москвич. А Надю Токарь, когда в гортеатре после его доклада она к нему подошла, москвич узнал не сразу. Правда, тут же смутившись и покраснев (как только один умел краснеть по-юношески во все свое худое, никогда не стареющее лицо!), москвич стал извиняться:

— Ну конечно, как тебя узнаешь, когда ты, не смотря, так сказать, на тяжелое военное время, такая красавица?! Ты и девочкой была хорошенькая,

но с сегодняшней не сравнить. Неужели не замужем? Ну конечно, война... Ах, жених все-таки есть! Везет же некоторым тыловикам. А где братишка? Не забыла, как он, паршивец, заглянул в чулан?.. Уже десятиклассник? Статьи пишет? Ну и правильно. Стихи у него совсем не получались. Пусть забежит ко мне в горком. И тебя, конечно, пригласил бы, но боюсь, так сказать, вызвать ревность тылового товарища...

Гришину статью о военной прозе москвич похвалил, и то, что Гриша подправил фамилию, — тоже одобрил.

— Все советские люди теперь русские. В такой страшной войне победить могли только русские, — сказал он и написал Грише на бланке ЦК рекомендательное письмо в Литературный институт советских писателей.

„...Так все устроилось, и надо же было мне напоследок привести этого психа”, — подумала Надежда Токарь.

Вдруг дернулась занавеска и пропустила молодую женщину в серой юбке и синей мужской, застегнутой не доверху, рубашке. Каштановые, коротко остриженные волосы и маленькие проволочные очки придавали женщине невзрослый, чуть ли не школьный вид. Челышев вздрогнул от жалости и тотчас улыбнулся, чтобы жалость не отпечаталась на его лице.

— Простите ради Христа, — сказал смущенно и от неловкости понес околесицу:

— Такая, понимаете ли, незадача. Видел я в Австрии оптическую лавку. Хозяин сбежал, а очки всех фасонов лежали, как при коммунизме. Знал бы, вам привез...

— Н-да... — вздохнула Надежда Токарь, решив, что капитан насмешается над подругой.

— Значит, я невезучая, — тряхнула головой юная женщина. — А это что у вас? Взрывчатка? — Она посмотрела на темно-вишневую канисторку.

— Сливовица. Ничего, теперь не прошляплю. Давайте номера стекол — я вам из Японии вышлю.

— Жека, это Машин папа, — сказала хозяйка.

— Я догадалась.

— Похож? — спросил Челышев.

— К счастью, не очень, — усмехнулась Жека, и капитан огорчился.

Скрипнула дверь. Вошел худой юноша с черными расчесанными по-маяковски прядями и недружелюбно кивнул капитану.

„А я сивый...“ — подумал Павел Родионович и взглянул на Жеку. Из-за маленьких стекол ее глаза, казалось, проглядывали Челышева насквозь. Впрочем, что в нем загадочного? Победитель примчался спасать дочку, а та упорхнула в Москву в содержанки к высокому партапаратчику. Вот и ломится победитель в чужую хибару, в чужую жизнь, на чужие провода.

„Так был у меня выбор или извечно выбора не бывает? — вспоминал старик спустя долгие годы. — Не столкнись я с Женей в этом бараке, вряд ли бы стал догонять свою часть. Японская кампания меня не занимала. В том послепобедном июле мне казалось: я ни на что уже не годен. Должно быть, Господь послал мне в ту ночь Женю, чтобы я не разрядил в себя парабеллум...“

Но пока Женя (или Жека) молча сидела за столом напротив капитана, и ее глаза из-за школьных очков с недоумением и тревогой смотрели на гостя. Хозяйка поняла, что между ее подругой и Машки-

ным отцом намечается *нечто* и невольно погрустнела. Даже разговаривала как-то вяло:

— Наверное, в Польше не так уж и весело. Города разорены. От Варшавы целого дома не осталось...

— Ах оставь свою Варшаву! Ведь прощаемся, Надька. Ведь навсегда-навсегда! — Юноша вдруг обнял сестру и заплакал.

— Пить ему не стоит, — шепнул Чельшев Жеке.

— Не приказывайте! Что он тут распоряжается? Жека, запрети ему командовать! — рассердился юноша.

— Не волнуйся, Кутик, товарищ капитан пошутил. Правда, Павел Родионович? Кутик у нас взрослый, самостоятельный. Кутик может много выпить. Просто он сейчас не в настроении, — стала утешать брата хозяйка.

А Жека по-прежнему молчала, словно всё на свете — лагерь, ссылка, плач мальчугана — значили для нее не больше, чем эти пустые стены, голая печь и плохо уложенные через лужу доски. Словно за всем этим текла невидимая, закрытая от всех Жекина жизнь, которую Павлу Родионовичу не понять и куда не проникнуть. Однако сама Жека не только проникала в Чельшева и узнавала его прошлое, но даже схватывала нынешние зыбкие, внезапно всплывшие в нем надежды. А Жекины глаза будто увещевали капитана: „Понимаю, вам тяжело. Привыкли о ком-то заботиться, а теперь не о ком. Поэтому, даже не поздоровавшись, брякнули об очках... Нет, я не обижаюсь. Мне приятно. Давно никто меня не опекал. Но ради всех святых не смотрите на меня как на свою судьбу. Я и со своей-то не соображу, что делать. А вы уставились на меня так, словно я ваше спасение...”

— Не расстраивайся, Кутик, — повторила На-

дежда Токарь. — Павел Родионович не будет приказывать Жеке. Жека уедет с нами.

— За ней второй поляк увивается, — сквозь слезы улыбнулся юноша.

— Мне это сообщать не обязательно. Я — человек посторонний, — помрачнел Чельшев. Он видел, что хозяйке пора собирать брата, но все равно не поднимался, пил сливовицу и не мог отвести взгляда от Жеки. Время сжалось до того, что чудилось: вот-вот оно взорвется. В страду — сутки кормят год, а тут секунда могла перевернуть чельшевскую судьбу. Капитан все откровенней вбирал в себя Жекино лицо, едва прикрытую синей бумазеей шею, оголенные по локоть руки и весь переполнялся жалостью к этой девчонке. Воздух вокруг нее дышал, и пространство между капитаном и Жекой пересыщалось грозowymi разрядами.

Снова скрипнула дверь, и в комнату колченого пролез поджарый мужчина. „На иностранца похож, — подумал Чельшев. — В лице ничего еврейского”. — Милости просим! — вскочил он, предлагая выпивку и закуску. Вошедший с грустной усмешкой скареда взглянул на разгулявшегося вояку, и Чельшеву стало не по себе. За два года наступления он привык, что в домах и хатах к столу зовут не хозяйева, а те, кто приносит еду.

— Что он здесь распоряжается? — снова всхлипнул юноша.

— Садись, Альф. — Надежда Токарь вытолкнула из-под стола табуретку.

— Не гожусь я для мирной жизни, — тихо сказал Чельшев Жеке.

— Годитесь... — еще тише ответила она.

— Наливай, Альф. Это сливовица, — сказала хозяйка. — Товарищ капитан — проездом. Ой, что-то от градусов петь захотелось...

Вдруг на ее коленях очутилась очень похожая на саму Надежду Токарь гитара, и хозяйка повела низким голосом „Мой костер”, но не романсово, как у Чайковского, и не на цыганский манер, а куда разухабистей и откровенней.

„В Бронькином отделе наловчилась...” — подумал Чельшев, но тут песня захватила его, словно они с Жекой в самом деле бродяжили. Но ведь ни в какие дни не сходились и лишь третий час глядели друг на друга через стол.

... Кто-о-то за-автра-а, со-око-ол мо-ой,
На гру-у-ди-и мо-о-ей раз-вья-яжи-ет
Узел, стя-а-ну-ты-ий та-обо-ой...

Хозяйка пела, может быть, намекая, что Чельшеву пора отчаливать. „Но причем тут узел? Не он тот узел стягивал, а распутает второй по́ляк. Втолкнет Жеку в пассажирский поезд и повезет не в китайскую державу, а в Польшу или еще дальше... А ты колотись на нарах о вагонку и бормочи „На сопках Маньчжурии”. Как хочется остаться! Не цыган ведь... Пусть Альф увозит хозяйку, этот плакса катит в Москву, а Жека — ждет меня здесь. Только вернусь ли?.. Ничего не скажешь, великое везение, сломав такую войну, тащиться на следующую, явно никому не нужную!”

Вспа-оминай, ко-оли дру-уга-ая...

„Нет, решил — другой не будет. Либо Жека, либо никто...”

Хозяйка, покончив с „Костром”, запела „Гори, гори, моя звезда”, но в самом патетическом месте выронила гитару, и та, съехав с ее круглых коленей, жалобно загудела.

— Ой и влюбился Павел Родионович, — засме-

ялась хозяйка. — Надо же, прямо с порога. Давно такого мужчину не встречала.

И тут с Чельшевым что-то стряслось. Налившись кровью, он полоснул хозяйку недобрым взглядом и поднялся.

— Мне пора. Спасибо за приют! — хотел сказать сурово, а вышло по-петушьи, и, подхватив отощавший сидор, капитан заспешил из комнаты. Он был оскорблен и подавлен. Почему все в жизни так паскудно срывается? Надька Токарь — то ли по неосторожности, то ли со зла — смахнула невидимые нити, что уже тянулись от женщины Жеки к Чельшеву. „Словно засветила непроявленную пленку...” — подумал машинально и толкнул скошенную дверь.

— Капитан, подождите. Я вас провожу... — раздался за спиной негромкий Жекин голос, после чего в комнате стало так тихо, точно все из нее вылетело через печную трубу или другим непостижимым образом.

(„Она выбирала, а не я, — не однажды вспоминал Чельшев, и сейчас, на московском бульваре, подумал о том же. — Ей обещали Запад, а она осталась ждать меня, хотя не знала, что Маньчжурская кампания выйдет короткой. Американцы кинут бомбу на Хиросиму и получится не война, а скорее экскурсия. Зато очков я ей привез целый чемодан. На вокзале не успел спросить, какие нужны. Проходил товарняк, я впрыгнул на тормозную площадку, хотя до смерти хотел остаться. У Жеки было такое лицо, словно она только что была со мной близка. У застенчивых, воспитанных, тонко организованных женщин под утро всегда несколько потерянные лица. Словно они ночью проспали свою остановку и едут без билета...”)

Старик расчувствовался от набежавших воспоминаний, и теперь бульвар показался ему обычным предвечерним бульваром. Деревья были по-июньски молоды, и Челышев, будто скинув годы, затосковал по жене, перебежал асфальт, остановил случайную машину и вот уже отпирал собственную дверь.

Женя сидела в кухне и читала письмо.

— Варвару Алексеевну увезли. Токарев только что звонил. — В ее голосе почудилось осуждение: почему не дождался санитаров?

— Звонил... Увезли... Меня тоже скоро увезут... — заворчал старик.

— Пашет, перестань.

— То ему печатай, то звонит... Вечно — Токарев, Токарев... Продыху никакого.

— Пашет, у тебя умерла жена, а ты Бог знает, к чему цепляешься.

— Поздно умерла... Надо было ее пристрелить еще в Сибири.

— И глупо. Сел бы в лагерь, а я — куда?

— Укатила бы в Америку.

— Не стыдно? Вот, кстати, прочти. Надюха снова зовет нас в гости. Уже даже отказываться неловко. Поедем?

— Езжай одна.

— И что думаешь — попробую!

Он взял письмо и, отдалив от глаз, прочел: „Дорогие Жечочка и Павел Родионович! Ужасно по вам заскучила...” Что за ерунда? Зачем кривляется?

— Пашет, ей там не с кем говорить по-русски.

— Мне — тоже... Ни по-русски, ни по-каковски, — рассердился старик и ушел в комнату. Надькины письма всегда выбивали его из колеи, но теперь он подумал, что жене незачем уходить к некоему со-

служивцу. Она может попросту не воротиться из Соединенных Штатов.

Секретер был закрыт. Никаких следов Токарева.

„...Тебе, Пашет, надо было жениться на естественной женщине. Ты бы ей весь белый свет заслонил”, — вспомнил старик утреннюю реплику Жеки. „Да, не увлек я ее, — сказал он себе. — Любопытно, на какую долю ее души смею претендовать?”

— Пашет, это просто удивительно, — засмеялась в кухне Женя. — На восьмом десятке ты негодуешь, как мальчишка. Сколько в тебе неизрасходованных эмоций!

Она вошла в комнату, обняла мужа, и он опять сдался, сраженный не столько ее словами, сколько теплотой ее рук.

— А в Америку я все-таки полечу. Теперь это, по видимому, реально. Почему-то очень хочется повидать Надюху. Ты без меня справишься. Теперь... — Женя помедлила, намекая на смерть Варвары Алексеевны, — у тебя хлопот меньше... Извини, что не откладываю разговор, но, боюсь, потом лететь будет поздно.

— Ты еще молодая... — шепнул старик и вдавился лицом в ее плечо.

— Никто не знает своего часа, — вздохнула Женя, и Челышев вспомнил, что то же самое сказал днем длиннокудрый.

„Часа своей смерти не знает никто, — подумала Евгения Сергеевна. — Но приближение беды иногда ощущаешь просто физически. Зачем лететь мне в Америку? Чтобы доказать Пашету, будто свободная женщина? А почему не объявить прямо, что хочу несколько месяцев пожить без оглядки на эту мрачную физиономию, на этот сварливый характер?”

Она осторожно взглянула на мужа. Отвернув-

шись, он лежал на тахте, и Женя не поняла, сердится он или дремлет. „Старый, — подумала она, — а скоро станет дряхлым. Прошла наша жизнь, и следующей не будет. А я стара? Нет, — покачала головой, и, как всегда, жесткая прядь молодо коснулась щеки. — Нет... Я на что-то надеюсь. Старость — это сдача прошлому, а я все еще чего-то жду... Не жду, а бегу от себя, и нигде нет мне покоя... Это потому, что пустилась наперегонки со своим возрастом. Но такими штуками никого не обманешь. Куда честней бросить Пашета, а не возвращаться к нему каждый раз, как ни в чем не бывало... Нет, — перебила себя. — Я уходила ненадолго, всего на несколько часов. Это было несерьезно, просто чтобы развеяться. Иначе бы не выдержала... Все Пашету плохо, всюду ему не так. А уж подозрителен, как лагерный кум. Нет, просто как старик. Я покидала его *ненадолго*. Но бросить никогда не собиралась... А если я просто трусиха? Трусиха и к тому же обманщица? Ведь решила смыться в Америку... Не смыться, а съездить на два месяца. Надька пришлет приглашение и полечу. Сегодня это возможно. Но лагерниц не пускают. А я добыюсь! — рассердилась Женя. — И хватит раздваиваться. Добьюсь, полечу, потому что потом будет поздно. Ишемия, стенокардия, сердечная недостаточность, нервное истощение... Вон сколько у меня всего!.. А зачем тебе Надюха? Ведь скоро тридцать лет, как расстались? Значит, зачем-то нужна. Может быть, меня скоро выдернут на последний этап, и я хочу обновить воспоминания. А Надюха — одно из самых дорогих...”

Первокурсницу филфака Женю Кныш арестовали вместе с родителями. Тихая московская девочка, она до лагеря ничего не умела, да и в лагере не получила профессии. Правда, с полгода толкала на

кирпичном заводе вагонетки. А потом с ней стряслась беда. Она забеременела от молодого фельдшера, бывшего студента-медика.

— Поговорю с врачами. Вдруг согласятся, — пытался он успокоить Женю, а заодно и себя.

— Не мели ерунды. Аборты запрещены даже за зоной. Сам сделаешь.

— Но я только трупы резал... — испугался студент.

— Учти, „мамкой“* я не стану. Скорей повешусь на вагонетке, — сказала Женя, понимая, что рассчитывать можно лишь на себя.

Она стала поднимать за один раз больше кирпичей, чем самая остервенелая стахановка. Надо было торопиться, потому что Женя опасалась полюбить в себе ребенка, которого у нее все равно отнимут. Но юное тело презирало голод, недосып, рвоту, и живот все круглился и круглился...

Кровотечение началось, когда она уже потеряла последнюю надежду. Транспорта в зоне, понятно, не оказалось. До медицинской землянки Женю несли на руках, и когда положили на стол, даже пожилая, привыкшая к фантастической женской живучести докторица удивилась, что Женя не умерла.

... Ей дали инвалидность, оставили нянечкой при санчасти и вытолкнули за проволоку, едва кончился ее пятилетний срок. Шла война. Почти никого не освобождали. Но Женя мало походила на живую женщину. Вряд ли бы она долго протянула, если бы ее случайно не подобрала Надюха Токарь. Надюха ее выходила и едва не увезла с собой. Приятель Альфа, тоже польский еврей, все прикидывал, же-

* Заключенная, родившая в лагере.

ниться ли ему на Жеке, но Жека нисколько его не поощряла.

— Ну что ты не мычишь, не телишься!? — злилась на подругу Надька. — Ведь без нас пропадешь, и никакой капитан тебя не выручит. Видишь, ничего он тебе не пишет. Или убили, или одумался. Да и ничего между вами такого не было, чтобы письма писать. А этому, — она имела в виду польского еврея, — только моргни, и он готов...

— Не стану я хорошему человеку свинью подкладывать, — отвечала Женя. — Вдруг меня не выпустят. Как тогда быть?

— Э, смелого пуля боится... — отмахивалась Надька.

— И стыд не берет... — в тон ей отвечала Жека. — Нет уж, езжайте одни.

И они уехали.

Наступила зябкая голодная осень, потому что в предвидении отъезда Токари ни картошки, ни топлива не запасали. Ветер гулял по хибаре, как по лагерному бараку, и время в ней тянулось еще тоскливей, чем в зоне. Но вот ноябрьским привычно-безнадежным вечером послышался деликатный дверной стук, и на пороге возник Челышев — за спиной сидор, на голове ушанка, в каждой руке по чемодану... Женя обняла Пашета, закружила и впервые обрадовалась, что не вышла замуж за поляка. Там, в Европе, такие чудеса невозможны...

Ее жизнь теперь и впрямь напоминала чудо. Женя хорошела на глазах. Это замечали все — соседи, сокурсницы, даже малознакомые люди. Казалось, в судьбу Жени Кныш, как в камеру, выломав дверь и сорвав намордники, впустили воздух с воли. Вокруг хибары по-прежнему лежала Сибирь, но даже Сибирь словно бы потеплела. Впрочем, перебираться из Сибири было страшно. Это могла себе

позволить лишь Варвара Алексеевна, обыкновенная уголовница. Родив ребенка, она укатила в родной город, восстановила свой партийный стаж и вскоре перебралась под Москву.

Иногда по служебным делам Пашет ездил в столицу, но всегда возвращался оттуда злой и мрачный, словно все московское выводило его из себя. „Недоволен дочерью”, — догадывалась Женя.

Действительно, Машина жизнь не радовала Челышева. Никакого высокого партаппаратчика рядом с ней не было. Маша то разводилась, то снова выскакивала замуж, и ее комната, вечно полная каких-то шумных, пьяных, беспутных мужчин, напоминала не то вокзал, не то гостиницу. Пашет, сокращая командировки, убегал от этого ужаса в Сибирь, к своей тихой, милой, ласковой Жене, и не было для него на земле уютней угла, чем окраинная хибара, а впоследствии двухкомнатная квартира в центре города.

Но вот скончался генералиссимус, и Женя Кныш, будто очнувшись от долгой сибирской спячки, осунулась, помолодела и взбунтовалась.

— В Москву! В Москву! — повторяла она днем и ночью. — Если не нынче, то вообще не уедем...

Она начала писать в грозные московские инстанции, разыскивать друзей отца, своих бывших подруг, и Челышев с опаской наблюдал, как Женя из запуганной, смиренной ссыльно-поселенки превращается в волевою, отважную и, главное, самодостаточную женщину. Но останется ли она такой в Москве? Ведь там Павел Родионович ничем ей помочь не сможет. Не окажется ли она в Москве без опоры, одна, как на юру? Не обратится ли в замученную московскими давками и расстояниями, заполошную, вечно разрывающуюся между службой, очередями и домом столичную страстотерпицу? А если в Москве

они с Женей озлобятся друг на друга и наступит беспросветная семейная каторга?..

Челышев пытался убедить жену в непрочности нового реабилитационного курса. Ведь этот курс всенародно не объявлен. Больше того: недавно „Правда” назвала закрытую речь Хрущева вымыслом западной пропаганды, хотя ее читали даже беспартийным. Собственно, этого и следовало ожидать. Партия не станет каяться, а ее уличенные в преступлениях сановники не побредут, будто пленные немцы, по московским улицам во славу справедливости и в назидание потомству. Никакая власть ничего подобного себе не позволит.

Но Женя была неумолима, и Челышеву пришлось вскарабкаться на верхнюю полку купейного вагона. Путешествие обещало быть приятным. Ехали налегке, словно молодожены. Женя радовалась, как гимназистка, впервые вырвавшаяся из захолустья, и огорчало ее лишь одно: на Казанском вокзале она встретит падчерицу.

Но вдруг в вагон вкатилась толстая суматошная баба с сумкой через плечо и по-милицейски зычно закричала:

— Чейлышев кто тута? Чейлышев сюда!

Павел Родионович испуганно развернул телеграмму: *„Встретить великому сожалению не смогу позвони вечером целую Маша”*.

„Ну уж нет. Пусть сама нас ищет”, — подумала Женя, хотя жалела мужа. Он и прежде, насупившись, глядел в окно, словно его везли в другую сторону да еще под конвоем. Теперь же, после телеграммы, он выглядел, как смертник.

„А я соблазняла Пашета Москвой, мол, он там чаще сможет видеться с дочкой. А оказывается, отец ей вовсе не нужен”, — подумала Женя.

Лишь вечером, когда вагонное радио объявило

о самоубийстве бывшего Машиного любовника, Пашет слегка ожил. Зато Женю охватила тревога: „Очевидно, в столице случилось что-то непредвиденное. Неужели прав мой мудрый муж? Вот она, первая смерть. Но эти люди редко кончают с собой. Почему он решился? Со страха? Нет, непохоже...”

Она вспомнила, как давным-давно Надюха и Гриша повели ее в городской театр на доклад видного московского пропагандиста. Хотя многие были в телогрейках, Женя чувствовала себя в театре еще неуютней, чем накануне в шахтерском клубе. Ей казалось: все знают, кто она, и сейчас ее выведут из зала. Даже хорошо, если только на этом все кончится. Она ни за что не пошла бы ни сюда, ни вчера на танцы, если бы не Гриша Токарев. Что скрывать, за Токаревым она последовала бы куда угодно... Впрочем, сейчас надо думать не о Токареве, а о московском партаппаратчике. Почему он застрелился?

Тогда, в театре, он Жене, пожалуй, даже понравился, хотя голос у него оказался не по-мужски высоким. Но зато москвич несколько не важничал и даже отдаленно не смахивал ни на тюремное, ни на городское начальство. Он не глядел ни в какие бумажки и о Сталине, Рузвельте, Черчилле и советских маршалах говорил запросто, словно о приятелях или соседях, лишь не к месту часто вставляя просторечное „так сказать”. Женя еще подумала, как бы повел себя этот седой человек, если бы его поставили во главе лагеря или райисполкома.

„Лучше других, — решила сейчас в поезде. — В нем все-таки была какая-то порядочность. За ним безусловно следили. Чтобы его припугнуть, арестовали его партизанского друга, сожителя Варвары Алексеевны, а он струсил. Он даже помог Токареву, хотя знал, что Токарев — сын расстрелянного.

Почему же такой человек сам ушел из жизни? Испугался процесса, наподобие Нюрнбергского? Но ведь ясно, что ничего даже отдаленно похожего не предвидится. Тут я с Пашетом абсолютно согласна. Однако самоубийство — поступок, и от него не отмахнешься. Вдруг это — нечто вроде катарсиса? Очищение человека, не верующего в Бога и в бессмертие. Как бы там ни было, все это печально. Он был не худшим в их шайке, и я вовсе не испытую радости, если они, как геринги, начнут глотать ампулы или разряжать в себя именные наганы. Муки совести прекрасны, но пусть бы этот человек жил себе дальше, а Маша, вместо его похорон, ждала бы нас на Казанском вокзале, и мы с ней, как две смирившиеся фурии, лобызали друг дружку...”

Дотащив чемоданы до стоянки такси и выстояв долгую очередь, Женя с Чельшевым, еле живые, измученные ранней жарой, достигли наконец временного пристанища. Но не успели они даже толком отдышаться, как в комнатку ввалились Маша и Токарев, молодые, счастливые, навеселе, словно вернулись не с кладбища, а из загса.

Женя была обескуражена. Почему Токарев не писал, что встречается с дочкой Пашета? Во всех письмах он неутомимо жаловался, что его не берут на работу, не печатают и дела его крайне плачевны. Но, оказывается, он вполне счастлив.

Маша, расцеловав отца, великодушно потянулась к мачехе, но та лишь пожала ей руку.

... А Машу стоило пожалеть. Нынешний день дался ей нелегко. Не могла она не пойти на похороны. Тогда, одиннадцать лет назад, когда арестовали мамашу и ее сожителя, Маша позвонила в Москву, уверенная, что седой красавец бросит трубку. Но

он мрачно сказал: „Приезжай” и выслал ей „до востребования” пропуск в столицу.

Маша торопливо оформляла документы, боясь, что ее вызовут свидетельницей и возьмут подписку о невыезде. Бокс подстерегал ее на всех углах, торчал в подъезде и в конце концов вломился в квартиру.

— Все! Теперь не отвертись. Моя будешь... — противно дышал он, тесня Машу в кухню. Комнаты были опечатаны.

— С сивым хмырем баралась?

— Да погоди, глупый, — шептала Маша, словно их подслушивали. Надо было охладить Валябу. Давясь плачем, Маша клялась, что перед ним, Валькой, она чиста и что сивый ничего ей такого не сделал. Это материнский хахаль к ней лез, а москвич, наоборот, прятал ее у себя, потому что хахаль совсем чокнутый. А когда москвич уехал, материн хахаль ее изнасиловал.

— С тобой не справлюсь, а он, знаешь, какой здоровенный бугай! — всхлипывала Маша, почти веря, что так все и случилось.

Валяба рыдал, как припадочный. То озверело колотил, то целовал Машу и божился, что начальник УРСа от него не уйдет. В тюрьге сидят кореша... А Маше не терпелось выставить Бокса на лестницу.

В тот же вечер, ни с кем не попрощавшись, Маша влезла в переполненный поезд, и спустя неделю на Казанском ее встретила приятельница москвича, Сусанна Федоровна. Она определила Машу на подготовительные курсы, ни о чем не расспрашивала и только следила, чтобы Маша вовремя ела, мылась и стирала свое белье.

Прошло два месяца, и вдруг пожилая женщина сказала:

— Можешь написать матери. Ее выпустили, а Михал Степаныча убили сокамерники.

Ночью Маша тщетно пыталась разреветься, а утром отправила матери короткое письмо. Велела отцовские деньги высылать ей на главный почтамт и никому не говорить, где Маша. Осточертели ей сибирские знакомства. В августе Маша сдала экзамены на аттестат зрелости, а еще через месяц — вступительные в университет, переехала в общежитие на Стромьнку и потеряла из виду Сусанну Федоровну.

Нет, не пойти на похороны Маша не могла...

Гроб водрузили в главном зале, а жаждущие постоять у тела вытянулись очередью в соседнем. Их оказалось не меньше, чем входивших с улицы простых смертных. На возвышении вдова склонялась над покойником, что-то поправляла, гладила его пордевшие, зачесанные назад белые волосы и желтые щеки.

„Работает на публику”, — подумала Маша.

Последние полтора месяца у нее с благодетелем вновь начался роман, точнее — страшный загул. Машу только что оставил четвертый муж, а благодетеля перевели с начальственной должности на почетную, и досуг у него стал немерянным. Впрочем, он и при Сталине умудрялся влетать в двухнедельные запои, сваливая самые неприятные мероприятия на своих безропотных соратников.

Нынче они распорядились на похоронах. Поскольку Маше нельзя было стоять рядом с вдовой или сидеть перед гробом среди родственников, ее несколько раз пропускали на караул без очереди.

Вдруг на возвышении, возле вдовы, появился мальчик. Цепляясь за мать, он испуганно глядел на покойника, словно ожидал от него нахлобучки.

Мальчик смутил Машу, и она решила больше не становиться с повязкой к гробу.

В соседнем зале очередь повязочников, не единожды перепутавшись и переплетясь, превратилась в откровенную толчею. Еще бы! Как усидеть дома, когда человек сам себя казнил?!

„Поторопился, — подумала Маша. — Спьяну поверил, что его дела — швах. Умный мужик, а повел себя, как мальчишка. Оставил меня одну...” — всплакнула она.

Действительно, Машины обстоятельства вызывали тревогу. Диссертацию, которая писалась три года, нынче защищать было бессмысленно, поскольку на двухстах страницах Маша сорок четыре раза процитировала Сталина.

„Как будто можно было меньше? — поморщилась она. — Нет, с диссертацией надо распрощаться. Даже будь *он* (то есть благодетель) жив, все равно с защитой ничего бы не вышло. Да и в последнее время *он* разве что-нибудь значил? Значил бы — не покончил с собой... А я хороша?! О чем думаю? Я — живая. Напишу новую...” — Маша вздохнула, сорвала с рукава повязку и прошла в третий зал, где было просторней.

Здесь, под приглушенное рыдание отдаленного духового оркестра, сидели или угрюмо сновали из угла в угол отстоявшие в карауле интеллектуалы и партийные бонзы. Кое-кто безразлично кивал Маше. Но большинство отворачивалось, и Маша вновь ощутила себя, как в детстве возле горкомовского дома, униженной и обойденной. Хотелось уйти от этих важных мужчин и заносчивых женщин, от занавешенных черно-алыми полотнищами зеркал и от медленно, будто расчетливо, бьющих по ребрам медных всхлипов. Но надо было стоять, не опуская головы, хотя купленные накануне туфли немилостиво

сердно жали, а душа ныла, как в кресле у дантиста. Куда уж лучше в растоптанных сандалях терпеливо ожидать на Казанском вечно опаздывающий пассажирский. Маша представила себе, как мачеха и отец мечутся по перрону в поисках носильщиков, и ей стало не по себе.

„Женька небось до сих пор на меня злится за танцы. Но отец, святая душа, заслужил, чтобы я его встретила. И надо же, чтобы их приезд совпал с похоронами! Как хорошо расхлюпать на отцовском плече! Он меня любит. Он меня видит не такой, как эти...”

Маша снова оглядела зал, где все казались ей личными врагами. „Наверное, обо мне шепчутся: „Красивая, а распутная. Глаза какие порочные... Ненасытная, жуткая особа...” А отец меня жалеет. Он-то знает, что я попросту неvezучая дура”, — разжалобила она себя и вдруг в дальнем углу заметила Сусанну Федоровну и Гришек. Сусанна вовсе одряхла, зато Гришек был до удивления похож на себя сибирского, или даже довоенного, хотя подбирался к тридцати годам.

„Почему я о нем не вспоминала?” — удивилась Маша и тут же, словно не жали туфли, словно не на похоронах, словно только вчера расстались, она раскованно, задорно, будто желая разозлить всех этих надутых мужчин и завистливых женщин, прошла сквозь настороженный зал, небрежно кивнула старухе, а растерявшемуся Гришеку сказала громко, точно они были одни:

— Хорошо, что я тебя нашла. Они сегодня приезжают. Не знаю, кто их встретит.

— Ничего, доберутся, — промямлил Токарев.

— А где их потом найду? Остановятся у ка-

кой-то подружки... — Маша нарочно не назвала мачеху „Женей”, что могло прозвучать фальшиво, а Гришек это понял.

— У меня пустует комната, но они ко мне не захотели, — улыбнулась Маша, радуясь, что комната в самом деле свободна и она, Маша, тоже. — Знаешь, честно говоря, я боюсь идти одна. Ты сегодня к ним не собирался?

Двадцать лет назад, когда возле ажурного забора Маша, глядя на голубой велосипед, кричала: „Хочу такой! Хочу такусенький!..” — в ее голосе была настырность. Но теперь, среди траура и горя, она была такая открытая и доверчивая, что Токарев узнавал в ней не только прежнюю Машу Чельшеву, а еще и выношенную долгими годами мечту о ней. Впрочем, Токарева волновало и ее счастливое лицо, и не меньше лица — ее большое ладное тело, что, не таясь, само к нему тянулось.

Сусанна Федоровна сердито посмотрела на молодых людей, поднялась и, опираясь на палку, заковыляла в главный зал к гробу. Ни Маша, ни Токарев не обратили на нее внимания.

„Видишь, как здорово! — радовались не только зеленые Машины глаза, но вся она, от переставших жать лодочек до растрепанных темно-русых завитков. — Я встретила тебя и я совершенно не занята. А то, что я *здесь*, так ведь и ты *сюда* пришел. Я ничего от тебя не таю и ничуть не притворяюсь. Иначе бегала бы сейчас по Казанскому перрону, изображая любящую падчерицу. Но я *здесь*, и *здесь* я рада тебе. А ты?”

„И я!” — едва не крикнул Токарев.

Когда начались речи и все перешли в главный зал, Маша с Гришеком выбрались на улицу, влезли в один из похоронных автобусов, где потом их сжали и кинули друг к другу. У Ново-Девичьего они за-

мешкались, отстали от провожающих, и милицейский кордон спросил у них пропуск.

— Это что тебе — Дом кино? — злобно расхохоталась Маша и, схватив Гришека за руку, потащила его вверх, мимо монастырской стены, и дальше, через площадь, в проулки медицинского института, где она и Гришек стали яростно целоваться, не обращая внимания ни на щебетню студенток, ни на истошный лай спрятанных в клетках подопытных собак.

Ночью Женя проснулась от холода. Старика рядом не было. Она подождала с четверть часа. Пашет не возвращался. Накинув халат, она вышла в кухню и обмерла: Чельшев сидел на подоконнике.

— Ты что? — припала к нему.

— Ничего, не свалюсь. Иди.

— Простудишься. Давай принесу пончо.

— Иди, — сказал он.

В воскресенье Женя уже не перепечатывала токаревские мемуары, а старик целый день пил водку, что прежде ему категорически возбранялось. Ночью он снова сидел на кухне, но окна не открывал.

„Вряд ли можно острее презирать женщину, чем Пашет — Варвару Алексеевну, — размышляла Женя. — И вот он раздавлен горем. Я-то считала, что эта смерть его не растревожит, и поспешила объявить об Америке. Бедный Пашет. Вторую ночь не спит, пьет и неизвестно, о чем думает. А завтра он весь день на ногах... Токаревы зачем-то повезут гроб в церковь, хотя, мне кажется, такую женщину вносить в храм неприлично. А меня будет прилично? — вдруг спросила себя. — Я обойдусь без отпевания... Разве что так. Бедный, бедный Пашет. Не повезло ему с женами. Но я старалась. Еще бы! Из-

меняла ему, как могла... Но другая давно бы его бросила. В Москве он стал невыносимым. А зачем его сюда привезла? В Сибири Пашету было тепло и уютно. Там он отмахивался от проклятущих вопросов. У него была я. Меня надо было кормить, а, главное, оберегать от госбезопасности. Пашету некогда было углубляться в свои разногласия с Левиафаном. Да и кто тогда спорил с государством? Все помалкивали. Жили тихо. Вернее, не жили, а таились. День прошел, не арестовали — и гран мерси!”

Женя снова вспомнила, каким Пашет в сибирские годы был моложавым, даже молодцеватым, и как (что греха таить?!) она ревновала его к сотрудницам „Сибшахтпроекта”. Пока училась в медицинском институте и позже, когда осталась при кафедре, крутить романы ей даже не приходило в голову. Со всех ног она летела домой, потому что все в городе было ссылкой, и только их двухкомнатная квартира — островком воли. Женя надеялась, что и в Москве они будут счастливы, но, по-видимому, Пашет все-таки сдал. Поздно ему было привыкать к новым людям, местам и обстоятельствам. Это обнаружилось почти тотчас, но катастрофа разразилась полгода спустя.

В ожидании твердо обещанной угольным министерством комнаты Женя с Пашетом снимали какой-то закуток, наподобие пенала, и чуть не каждый вечер их навещал новоиспеченный зять — Григорий Яковлевич. Однажды разговор зашел о войне, и Токарев спросил спьяну:

— Интересно, Пашет, какая тебя муха укусила? Внутренний эмигрант, контрик — и вдруг пошел добровольцем! Это не в образе. Куда логичней тебе было бы остаться при немцах. От отщепенства до коллаборационизма — один шаг...

— Уйми его, — сказал Челышев жене. Он еще не привык, что зять ему „тыкает” и, подражая Жене, зовет „Пашетом”. У зятя „Пашет” звучал, как щенячья кличка. К тому же пенал был отделен от хозьяев тонкой фанерой.

Женя, забившись с ногами в угол дивана, приглаживала разметавшиеся Гришкины вихры и молчала. Она сердилась на мужа. Оказалось, что их одиннадцатилетний такой счастливый брак для Москвы не пригоден.

— Жил — дрожал, умирал... Ну, прости, Пашет... — замаялся зять. — Не будь премудрым пескарем. Ты же на самом деле храбрый мужик... Теперь другое время. Со сталинщиной покончено.

— И с Венгрией тоже... — буркнул Челышев.

— Ну, Пашет, ты не исправим.

— Повезло: не исправляли...

— А как до тебя нашим славным чекистам было добраться? Ты же в щели сидел, — засмеялся зять.

— Разумеется, не в горкоме...

— Пашет, прекрати! — сказала Женя. — Мальчик себе отца не выбирал...

— А я горжусь отцом! — вскрикнул Токарев. — Отец был честный человек.

— Хорошо, хорошо... Но пить я вам больше не дам, — сказала Женя и поставила бутылку на диван.

— Нечего тебе, Пашет, обижаться, — сказал Токарев. — Я лишь говорю, что поскольку ты не любишь советскую власть, тебе логичней было остаться в оккупации.

— А он и теперь в оккупации, — вздохнула Женя. — Вечером на улицу не выходит, словно в городе комендантский час. Из этой конуры он — только на службу. Со службы — назад в конуру...

— Зато ни к кому не примазываюсь. Не кричу:

„Да здравствует романтика целины!” или „Славься ленинская соцзаконность!” — рассердился Челышев, намекая на последние статьи зятя. Токарева только-только начали печатать, и он был не слишком разборчив.

— Перестань, Пашет, — нахмурилась Женя. — Неужели думаешь, что ты особенный и не приспособливаешься к советской власти? Ну, во-первых, это не так... А во-вторых, что толку? Сидишь в этой конуре действительно, как пескарь под корягой. А кому от этого тепло?

„Тебе”, — сказал про себя Челышев.

— Никому, — повысила голос Женя. — А мальчик с Надюхой...

— Тише... — Теперь уже перепугался зять, хотя хозяева вряд ли догадывались, кто такая Надюха и где она живет.

— Да, мальчик с Надюхой меня спасли, приютили, — воодушевлялась Женя. — Он мне как брат... — Она обняла Токарева. — И Надюху я тоже отыщу. Вот увидите — отыщу. Свинство, что я ей столько лет не писала! Нет, я в углу сидеть не намерена!

Она соскочила с дивана и теперь стояла перед Челышевым, грозная, в самом деле молодая, очевидно, готовая к любому повороту и своей и его судьбы.

— Не воображай, Пашет, что ты какой-то из ряда вон выходящий. Ничего подобного. Никакой ты не контрик и не внутренний эмигрант. Это мальчик тебе польстил. Ты самый заурядный каменщик.

— Он что — масон? — испугался Токарев.

— Если бы!.. Нет, масоны — вольные каменщики, а Пашет — подневольный. Помните:

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

Она продекламировала с чувством, но тут же смутилась: — Бог мой, какие неуклюжие стихи. Слоги сливаются... — Ей стало не по себе и захотелось оборвать спор. — Прости меня, Пашет, но ты каменщик. Ты, конечно, очень хороший человек. Самоотверженный человек. Тебе и в голову не приходило прятаться от фронта. Ты очень порядочный, очень справедливый. Ты всегда, как мог, выкладывался на работе. Но ты, разумеется, вместе со всем советским народом построил... тюрьму.

— Ну, Жека, это слишком... — всполошился Токарев.

— А что ты могла мне предложить?! — вспыхнул Павел Родионович. Седой, побагровевший, он тоже выглядел молодо и решительно, как подсудимый во время оглашения приговора. Женя поняла, что и он не отступит.

— Ничего... Ровным счетом ничего. Я ведь сама каменщица. И всегда была такой. Даже в лагере.

— Нет, Жека, нет! — запротестовал Токарев. — Нельзя так смаху. Ты не виновата. И я — тоже. Я вообще никакой тюрьмы не строил. Даже иносказательной.

— Молчи, мальчик, — не оборачиваясь, шепнула Женя и, упав на плечо мужа, заплакала:

— Ты прав, Пашет. Прав... Ничего нельзя было сделать. И сейчас нельзя... Боже мой, зачем я завела этот разговор? Ведь нет никакого выхода...

Но для себя Чельшев нашел выход и через неделю вышел на пенсию. В угольном министерстве отпускали раньше.

„Я в ногах у него валялась, — вспоминала Евгения Сергеевна. — Твердила, что моя фармакология

не лучше, а даже хуже его шахт. Где там! Слышать не желал. Ушел, не дождавшись твердо обещанного жилья. Так что дорого обошелся нам этот моральный постриг... Нет, не должен мужчина запирается в четырех стенах, словно домохозяйка. Тем более, что и стен-то своих не было. Какие-то за проходные углы, где, ожидая меня, томился мой ревнивый повелитель, а я выискивала повод воротиться попозже. Легко ли терпеть преждевременно состарившегося субъекта, который, за неимением других дел, сводит счеты с теми, кто хочет радоваться жизни? И конечно же, прежде всего с моими друзьями и подругами! Этот ему плох потому-то, та — никуда не годится еще почему-нибудь. Я только-только дорвалась до человеческого общения, а он отравлял мне все радости дружб и встреч. Я по всему этому так изголодалась, а он твердил: все твои друзья — приспособленцы. Конечно, Пашета раздражало, что его связи с миром шли теперь только через меня. Я же выходила в жизнь независимо от него, и он с этим никак не мог примириться. Но ведь не я затащила его в нору...”

Впервые изменив мужу на двенадцатом году брака, Женя ощутила себя бестолковой, беспомощной сорокалетней идиоткой: стеснялась при любовнике не только раздеться, но даже снять очки.

„Вот до чего довела меня жизнь со старым брюзгой”, — рассердилась она, но почему-то ее сразу же потянуло к Пашету, такому родному, прежней ее защите и опоре, а теперь просто единственному на земле существу, для которого она — дороже всего... Да-да, для этого склочника и ревнивца она дороже всех, даже злючки Маши...

С тех пор тяга из дому мгновенно сменялась тягой домой, и покоя не было, и вечно хотелось куда-

то бежать, чтобы немедленно возвращаться. Жизнь получалась какой-то верченой, не по возрасту суетливой, словно Женя Кныш и впрямь удирала от старости. „Женщина без поприща, — называла она себя. — Ни семьи, ни детей, ни работы. Потому что какая у советского человека работа? Служба. Да и та спрочувала. Вот и уходят годы на холодную войну с мужем и на жаркие споры с собой. Никому я не нужна, и приложить мне себя некуда. Мое сочувствие, мой интерес к людям, моя, если угодно, рисковость — все впустую... Никакой личной жизни. Всего лишь мизерная, клочковатая женская биография. Господи, будь Пашет доверчивей к окружающим, насколько бы легче жилось! Или если бы он был безнадежно больным, если бы его ежедневно приходилось отвоевывать у смерти... Но никаких подвигов не требует от меня мой мизантроп. Нет, возвращайся я из лаборатории вовремя, я в один прекрасный вечер выбросилась бы из окна... А так — я всего лишь запаздываю на два-три часа, но зато уж лечу домой сломя голову. Да, Пашет — мой дом. Тесный, тусклый, ужасный, но все-таки дом. Другого не было и нету... А все же честней было бы уйти совсем. Или хотя бы во всем ему признаться. Ведь ревнует он и мучается, потому что верит: ни с кем у меня ничего никогда... Но не сегодня-завтра может начаться. А призналась бы, перестрадал бы и успокоился. Его ревность — это неуверенность в моих „завтра”, поскольку все мои „вчера” вне подозрений... И совершенно прав. Все это чепуха. Робкие поиски родственной души. Жалкие попытки отдохнуть от Пашета. Близость во всем этом никогда не была целью. Это потому, что я стеснялась просить у бандерши ключ”.

„Бандершей” Женя окрестила давнюю, еще лагерную приятельницу, немолодую, но бойкую и

весьма хваткую особу. Через неделю после реабилитации эта лихая баба выбила себе отдельную квартиру и охотно, даже настойчиво опекала младшую товарку. Но бандерша была въедлива, любопытна и за то, что впускала Женю в комнату, норовила забраться в такие закоулки Жениной души, куда сама Женя предпочитала не заглядывать.

Короткие свидания в кафе, в кинотеатре, даже в научной библиотеке, неторопливые, с преобладанием полутонув; спокойные, вовсе не обязанные чем-либо завершиться, отношения — словом, все светлые радости студенческой поры, которыми обделили Женю лагерь и ссылка, казались ей заманчивей непростых, зачастую напряженно-тяжелых постельных романов.

„Но теперь, слава Богу, все мои побеги кончились... Как я пугалась, что падчерица меня накроет. Почему-то боялась именно Маши. Правда, у нее пол-Москвы знакомых и она появляется в самых неожиданных местах. Конечно, Маша, не задумываясь, настучала бы на меня Пашету. Но теперь могу спать спокойно. Уже стара... А все равно удираю. Навоострилась в Америку. Это тоже бегство. Но ведь всего месяца на два, от силы на три. А есть они у меня? И как оставлю Пашета? Без присмотра он одряхлеет. Неужели Америка важнее, чем он? Или я в самом деле собралась его бросить? Ни за что! А вот бутылку я у него отниму. Завтра день трудный. Хорошо бы уговорить Пашета, не заглядывая в церковь, ехать прямо на кладбище”.

... Сеялся дождик. Пока можно было, гроб везли на тележке и грязь из-под колес обрызгивала провозжавших. Старик сердился, что Женя увязалась за ним и, усталая, постаревшая, еще тащится на каблук.

ках по склизкой земле. Это раздражало и уводило мысли от усопшей.

Два дня Челышев неотрывно думал о Броньке, не столько прощая ее, сколько обвиняя себя. И теперь, спеша за тележкой, нетерпеливо ждал, когда остановятся и откроют гроб. Словно мертвое Бронькино лицо могло что-то объяснить...

В субботу, после чтения мемуаров, страшно было войти за ширму, а сейчас он так торопился взглянуть на покойницу, что кладбище казалось бесконечным. Уж лучше бы крематорий... Хотя под открытым небом просторней. В какой-то миг они с Бронькой останутся с глаза на глаз (ничего, что ее глаза закрыты!), и тогда все вокруг помешают не больше, чем дождик, чем еще не вырубленные вдалеке деревья или роющий могилу экскаватор...

Под ногами зачавкало. Гроб пришлось взять на руки, но Павел Родионович не подставил плеча, а по-прежнему ковылял сзади, и Женя цеплялась за его локоть.

(...Месяц назад, во время операции, жалея Броньку, старик, стоя у окошечка регистратуры, чуть ли не молился, чтобы она не приходила в сознание. Раз нет надежды, зачем резать? Опиуму дайте и все... Но Машенька и ее брат, верзила-железнодорожник, верили, что мать спасут и, наглотавшись элениума, сидели обнявшись на белой больничной лавке.

Зять, худой и высокий, слонялся по вестибюлю, выходил курить, возвращался и, приваливаясь к стене, почему-то не отрывал глаз от пустого окошечка. Старик, сосредоточив мысли на смерти, не слишком следил за Токаревым.

„Смерть — конечное любых вариантов. Если Бронька выкарабкается, но будет лежать лежнем, смерть все равно ее не минует. Так уж лучше бы сразу, без мучений... И для Машеньки лучше, и для

дурня-Витьки. Если их мать будет валяться в палате, где четырнадцать таких же приговоренных, смерть — тоже лучше. Куда ни кинь, смерть — самый удачный исход. Но не мне решать, а Бронька под наркозом. Жизнь бесчисленна в своих возможностях, а смерть — единична, как вершина горы или угла. Она — тупик, но одновременно — завершение. Если от смерти взглянешь вниз, назад, то увидишь всю Бронькину жизнь и вдруг разгадаешь ее смысл... Однако зачем Гришка уставился в окошечко? Ах, играет в „комбинаторий“? Составляет из „регистратура“ разные словеса. Что же выходит? Страус? Не годится. Нет второго „с“. Гарус. Гусар. Расстрига? Вот хорошее слово. Но в нем тоже два „с“. А то как раз бы о Климе вышло...”)

Так думал, когда оперировали Варвару Алексеевну, и, не ощущая между ней и собой связи, желал ей умереть легко и быстро. А нынче месил кладбищенскую грязь, и ему казалось, что не он тащится за гробом, а гроб тянет его за собой. Словно в этом, слава Богу, не обтянутом кумачом, ящичке лежала одна половина Челышева, а вторая — покорно плелась за первой. И не терпелось добрести до могилы, где молодежь снимет с плеч этот нехитро сколоченный, сырой и тяжелый сундук.

Дождь мешался со слезами, и, когда остановились, старик не увидел Бронькиного лица. Он точно окунулся в обморок, и Бронька будто не лежала в гробу, а витала перед Челышевым во всех временах — от двухгодовалой девчушки до почти старухи. И хотелось одного: чтобы Бронька жила, все время жила, потому что ее смерть оказалась не концом Броньки, а последней строкой приговора, вынесенного старику на этом загородном и неогороженном убогом кладбище.

Он рыдал молча, толчками, вырываясь из Жени-

ных рук, и по-прежнему не видел мертвой. Когда же подошел его черед коснуться губами Бронькиного лба, он сквозь дождь не разглядел ее лица.

Гроб заколотили, но облегчение не пришло. Горем саднило изнутри, а снаружи, как сквозняком, прохватывало сознанием вины и сиротством, совсем как шестьдесят лет назад, когда хоронили отца, и через год, когда задушили беженку, и позже, когда не мог найти мать... Вина и сиротство не разлучались, потому что сиротство было воздаянием за вину, хотя не топил в реке отца и не душил беженку. Но мать Любовь Симоновну он извел, отвернувшись от нее в трудные годы, не дав ей ни сыновней любви, ни простого человеческого участия, к тому же напоследок оскорбив своей нелепой связью с Леокадией...

Что же до Броньки, то ее Чельшев погубил вовсе ни за что, толкнул к подонку Дрозду и заглушил в ней все зачатки добра. Ведь не могло их в ней не быть вовсе?! А дальше само покатилося... Никто не знает природы рака. Вдруг это не болезнь, а сплетение горя, безысходности и неутоленных обид... Может быть, юная Бронька ожидала от него безоглядной любви, а он унизил ее снисходительной жалостью и бесполезной в таких случаях благопорядочностью. И вот спустя сорок с лишком лет обиды, унижения и печали проросли в Варваре Алексеевне опухолью и свели ее в эту яму...

Чельшев смотрел, как навстречу дождю подымался липкий бугор, и с ужасом ощущал свое беспросветное одиночество, хотя его за руку держала Женья, а рядом стояли Машенька и зять.

Поминки сразили старика. В обе комнаты — к дочери и к соседям — набилось человек шестьдесят. Стульев не хватило. Почти все гости стояли.

„А на кладбище и трети не набралось, — подумал Павел Родионович. — И на отпевании, верно, тоже...”

Тревожило его это отпевание. Усопшей, пусть та была членом КПСС, оно, разумеется, безразлично. Но Машеньке, хотя она беспартийная, отпевание может выйти боком, поскольку Машенька служит в идеологическом учреждении.

Среди поминального шума и гама старику вдруг захотелось приласкать дочь, но та стояла в другом конце комнаты. Вокруг Машеньки жадно пили и ели, хотя питье было самое обычное, а закуска — мизерабельная: кильки из жестяных банок, венгерские салаты — из стеклянных и слабо промасленная немолодая картошка. На поминки Токаревы не расщедрились. Впрочем, у них никогда нет денег. Что же будет, если в Машенькином институте дознаются об отпевании?..

Дочь заметно пьянела, и не стоило пробираться к ней со всепрощением и отцовскими нежностями. Так же, как в субботу, не удалось бы погоревать вдвоем. А больше-то скорбеть некому. Для зятя, для дурня-Витьки (тому достанется Бронькина подмосковная дача!) и для внучки Светланки (эту даже не вызвали из Крыма!) смерть Варвары Алексеевны — никакая не утрата.

Машенька напивалась все откровенней. Смех ее, резкий и злой, все чаще переходил в плач, а старик погружался в свои беспросветные переживания. Женя, догадавшись, что Пашету нынче не до нее, осталась у двери, и теперь оттуда, сквозь гул аля-фуршета, до Чельшева донеслось:

— Доченька, немедленно подавать! Никаких сомнений и разговоров! Завтра подавай! И увидишь: через месяц выпустят!

Старик вздрогнул, увидев толстую усатую жен-

щину. „Уж кого-кого, а эту бой-бабу я никак не ожидал встретить на Бронькиных поминках”, — подумал он, но, оглядевшись, насчитал в комнате нескольких приятельниц Жени.

„Гришка привел. У него с ней все общее...” — огорчился старик и потому не назвал жену по имени.

— Езжай, доченька! С каким-нибудь интересным американцем зароманишься. В Штатах наша сестра моментально молодеет. Твои пятьде... прости, прости, твои сорок... сразу сократятся до двадцати девяти! — радостно захлебывалась бой-баба.

Старик вообще не жаловал подруг Жени, но эта раздражала его больше всех других, вместе взятых. Каждая сентенция бой-бабы приводила Чельшева в бешенство, но он ни разу не посмел ей возразить. Срабатывал комплекс несидевшего человека.

„Что я знаю о лагерниках? — корил он себя. — Чтобы с ними не сталкиваться, я редко выбирался на шахты. Стыдился, что я вольный. Не ведал, что тоже подневольный. Правда, не эзк, а каменщик...”

— Смело подавай! — разливалась бой-баба. — А если откажут, обратись, доченька, к Леониду Ильичу, а еще лучше — к Юрию Владимировичу Андропову. Это скорей по его ведомству. Меня тоже не пускали в Париж, а после письма в Комитет госбезопасности даже извинились за проволочку.

— Знаешь, мать, советуй кому-нибудь еще, а Жека в охранку не напишет, — сказал Токарев.

— Гриша, я бы попросила тебя...

— Деточка, — повторил Токарев, — мы все глубоко уважаем твое прошлое. Но Жека, между прочим, тоже сидела, а она, повторяю тебе русским языком, в охранку не напишет.

„О чем они? — подумал старик. — Здесь ведь не ОВИР!”

Ему вдруг пришло в голову, что живи Варвара Алексеевна, вернее, умирай она до бесконечности, не собралась бы Женя в Америку. От этой мысли сдавило горло; боль откликнулась в ключице, и захотелось вырваться из задымленной комнаты хотя бы в тихий сквер. Но поминки есть поминки.

„Найти, что ли, гривастого, — вспомнил старик. — В субботу он вызывался облегчить мою душу. Разумеется, болтовня. Но хотя бы отвлекусь от выездного ажиотажа”.

В самом начале пиршества Павел Родионович видел длиннокудрого возле фельдшерицы, невзрачной смуглокожей девчонки, всю последнюю неделю ходившей за умирающей. Но постепенно вокруг стола поредело. Многие, в их числе Женя, покинули комнату, а оставшиеся в ней завели непонятный старику спор о переселении душ. Гривастого меж ними не было.

В коридоре, где тоже толпились гости, пожилая бой-баба безапелляционно хвалила Театр на Таганке:

— Нет-нет, я вовсе не рутинерша. В другой жизни, то есть до ареста, я обожала МХАТ и боготворила Малый. Тогда мне нужен был занавес. Я радовалась, что на сцене сидят живые люди. На Таганке живых людей, говорите, нет? И прекрасно! Другое время — другие песни, и я вовсе не рвусь назад, в Замоскворечье, к Александру Николаевичу Островскому.

„Конечно, вы нацелились на Америку”, — подумал старик, но тут же вспомнил, что в Соединенные Штаты собралась не бой-баба, а Женя.

Он снова обошел нелепую, захламленную квартиру. В обеих комнатах гривастого не было, а в

кухне сидели зять и Женя с несколькими своими приятельницами, в том числе вездесущей бандершей, которая умудрялась возникать сразу во всех углах коммуналки.

„Небось распинается, какая она прогрессивная и не отстаёт от жизни”, — рассердился старик, но тут же подумал: „А если бы у меня отняли восемнадцать лет, как бы я запел? У меня отняли семьдесят с гаком...” — хотел себе возразить, но помешала бой-баба.

— Удивляюсь тебе, Гришенька, — весело басила она. — Красавец и молодой еще, можно сказать, человек, а записался в пенсионеры. Ушел в кусты... Моя хата с краю, не чепляйтесь ко мне, не докучайте. Но ты же писатель! Ты обязан быть в людской гуще, в центре всех происшествий. А где ты, скажи на милость? Я раскрываю наш лучший журнал — и что же? Токарева в нем нет. Достаяю из ящика „Литературную газету” — и снова не вижу Токарева.

„Это она ему мстит за то, что назвал КГБ охранкой”, — решил старик.

— Публикуются новые повести и романы, затеваются серьезнейшие дискуссии, накопилась тьма насущных вопросов, а ты, Гришенька, молчишь, и мы без твоих мудрых объяснений хлопаем ушами.

— Мать, перестань, — поморщился Токарев.

— Нет, милый, ты так просто не отмахнешься от благодарных читателей. Что ж, просвещал-просвещал, а потом дал деру. Поманил-поманил и — бросил? Нехорошо. Некрасиво. Мы тобой гордились, мы-то на тебя надеялись. А ты, ходит слух, еще и поддался новым, вернее, старым веяньям — в Бога поверил... Словом, ушел в кусты, нами брезгуешь, думать о нас не желаешь.

— Не трогай его, — тихо сказала Женя.

— Вечно ты с ним нянчишься, доченька, — улыб-

нулась бой-баба. — А он не ребенок. Он, между прочим, учитель жизни. Ладно, Гришенька. Бог — Он, конечно, Бог, но и сам не будь лопухом. А ты сдался, слинял. Боюсь, подражаешь своему тестю. Это его идея-фикс: никуда не лезть, ни в чем не участвовать. Пашет — апостол морального подполья...

— Нет, чур, без меня, — пробурчал старик. Он был обескуражен. Ведь никогда не делился с бандершей своими мыслями. Неужели Женя настолько с ней откровенна? К тому же в устах этой старухи „Пашет” звучало как бы с маленькой буквы: не имя, а должность.

— Оставь, — снова сказала Женя бой-бабе. — В критике сегодня невозможно работать. Поэтому мальчик из нее ушел...

— Куда? — воскликнула бой-баба. — В Церковь? В личную жизнь? В мещанство?

— Мать, не сдастся ли тебе, что подобные вопросы слишком бесцеремонны? — насупился Токарев.

— А ты что, забыл, что я бесцеремонная тварь? Я ведь и такая и сякая, и с нарядчиками жила... Все семьдесят семь собак можешь на меня навесить, а я все равно тебя, колючего, люблю. Мне обидно, что ты себя самообираешь. Мало того, что советская власть, — бандерша все-таки приглушила голос, — нас обделила, так мы еще сами себя ограничиваем! Ну что за ерунда?! Дурь последняя. Девочки и мальчики, жизнь коротка. Это вам говорю я, несчастная старуха. У меня собственных радостей давно не осталось. Никакие нарядчики больше со мной спать не будут, — подмигнула она Жене, и та покраснела.

„Другим она об этой мегере рассказывала, а со мной никогда ничем не делилась... Запугал я ее своей брезгливостью”, — подумал старик.

— Вот и кручусь-поворачиваюсь. Гребу, как гово-

рится, под себя, потому что я хоть женщина старая, а все же не курица. А ты, Гриша, — кура мужеска полу. Публиковаться же ведь ты любил? Погоди, погоди, доченька! Знаю, знаю, что мне ответишь: никаких светлых мыслей теперь в прессу не протацишь, цензура зверствует и так далее и тому подобное. Согласна, согласна! Но что же? Сидеть и ждать, пока развиднеется? А если не развиднеется? Если так уж навечно? И даже еще хуже будет? Придут, скажем, китайцы. Что тогда делать? Харакири?

— Ну, мать, не пугай на ночь глядя! — усмехнулся Токарев.

— Я не пугаю. Я дело говорю. Если ты храбрый — борись. Вон академик Сахаров организовал Комитет прав человека. Преклоняюсь, уважаю, хотя не верю, что окончится добром. Открытое сопротивление — увы! — бесполезно. Это я знала еще в лагере. Бунтовать глупо. Приспособливаться — куда умней. Не бунтари, а как раз приспособленцы улучшают мир, делают его более сносным для проживания. Мой папочка, вечная ему память, старший эсдек, чего добился? Только того, что был расстрелян, а меня сунули на десять лет в зону и на восемь в ссылку. Правда, папочка был еврей, значит, по самой своей природе бунтарь. Но даже еврею не стоило шебуршиться.

— Рожденный ползать... — вздохнула подруга Жени.

— А что твой буревестник — не ползал? Чутьочку поерепенился, а когда царскому дому стукнуло триста лет, вернулся как шелковый. А почему? Потому что жизни хорошей захотел. И на большевиков он тоже поначалу вскидывался. „Несвоевременные мысли” сочинял. (За эту книгу потом сажали.) Петиции разные подписывал, даже в эмиграцию умотал. А потом, когда кончились доллары,

как миленький приполз и еще прошипел: если враг не сдастся, его к ногтю... Так что до сих пор литературоведы не выяснили, кто он — сокол или уж...

— Несчастный русский интеллигент, — сказала Женя.

— Ты, доченька, всякого жалеть будешь. Лучше вон Токарева своего пожалей. Объясни ему, что его здешняя, посясторонняя жизнь все-таки кончится, а другой уже не будет. Ты в лагере *туда* заглядывала. Скажи ему, что *там* ничего нету. Пусть на Бога особенно не рассчитывает. Здесь, Гришенька, твое поприще. А ты себе какой-то скит устроил.

— Да что ты ко мне привязалась! — закричал Григорий Яковлевич. — Ни в каком я не скиту. Хочешь знать, пишу ли? Да, пишу. Пишу в стол. Поняла?..

— Ну и глупыш, — спокойно сказала бой-баба. — Писать надо не в стол, не в будущее, а для нас, кто живет сегодня. Для тех, кто будет завтра жить, — завтрашние таланты напишут. Они лучше разберутся, что у них для чего. И вообще я не понимаю, что, собственно, случилось? Разве вчера не было цензуры? По-моему, мы такие же, как прежде, мы живем в той же самой стране, где еще в позапрошлом году тот же самый Гр. Токарев со страниц всемирно известного журнала учил нас уму-разуму. Ну хорошо, предположим, страна стала хуже, наконец, мы сами попортились. Так пусть Гр. Токарев снизойдет до страждущих читателей и сеет доброе и вечное, но более низкого качества. Надо, в первую очередь, о читателе думать, а не о своей гордыне. А у тебя на уме небось одно: только бы не запачкаться...

— Заткнись, мать. Надоел твой цинизм.

— Это не цинизм, Гришенька, а житейская муд-

рость, — улыбнулась бандерша. — А вот в стол писать — это хотя и не цинизм, но, прости меня, онанизм... Так неужели ты намерен им заниматься в ожидании прекрасной дамы, то бишь эпохи? Вдруг она вообще не появится. А ты молодой. Тебе слава, как баба, нужна. Нет, Гришенька, мы тебе пропасть не позволим. Правда, не позволим, Павел Родионович?

— Я сказал: оставьте меня в покое!.. — отвернулся старик и вдруг увидел, как распахнулась дверь ванной и оттуда вынырнула невзрачная медсестра с удрученно-стыдливым личиком, а следом за ней вылез вовсе не благостный, а хитровато-веселый длиннокудрый гость.

— Ба, вот вы где, Павел Родионович! А я вас искал. Надеюсь, поговорим. Ну, не в последний раз видимся. Еще побеседуем, побеседуем, — улыбнулся длиннокудрый и похлопал старика по плечу.

— Погуляй, детка, — кивнул он фельдшернице и, оттеснив Чельшева, пролез в кухню.

— Ты тут, старенький? Об чем спор? — спросил он Григория Яковлевича.

— Да вот сержусь на вашего друга за то, что отворачивается от жизни, — засмеялась бой-баба. — Подражает, видите ли, своему тестю. Но что позволено Юпитеру, в нашем случае пожилому человеку... — подмигнула она как сверстнику длиннокудрому, который годился ей во внуки.

— Безусловно так, — приосанился длинноволосый, стараясь выглядеть вдвое старше и вчетверо хмельней. — Ты, старенький, не спорь... — Он поднял руку, предупреждая возражения Токарева. — А вы, Павел Родионович, — повернулся к старику, — опять не правы. Я вам в субботу объяснял: не надо пугаться смерти. И жизни тоже не надо. Жизнь — она ведь...

— Именно, именно! — подхватила бой-баба. — Как хорошо, что вы тоже так думаете! Видишь, Гришенька, мы с твоим товарищем еще не успели познакомиться, а уже солидарны. Нет, глупо, глупо отворачиваться от реальной жизни. Вне ее ничего нет...

— Позвольте, уважаемая! Разрешите! — Длиннокудрый поднял обе руки.

— Нет, нет, я начала — я докончу, — заторопилась бандерша. — Как хорошо, что мы с вами сошлись во мнении. Без вас все меня перебивали.

— И правильно делали... Кто вам сказал, дорогуша, что жизнь кончается здесь, на брэнной земле? Наукой установлено, что душа не умирает. В Соединенных Штатах каждый месяц оживляют до ста человек. До ста! Слышите? Каждый месяц сто душ уходят на тот свет, и их силой, против их воли, возвращают *оттуда*. Они хотят *туда*, но реаниматоры их не пускают. Души людей стремятся в *тот* мир. Они видят *там* своих родителей и родственников. Они рвутся к ним, и покидают их лишь, когда мать или отец им велит: „Возвращайся!“ И даже тогда возвращение к нам для них мука. А вы: „Жизнь кончается здесь!“

— Чепуха, — хмыкнула бой-баба.

— Нет, уважаемая мамаша. Совсем не чепуха. Смерть — это не конец, а только переход в другое, высшее состояние. И вообще здешняя жизнь — еще даже и не жизнь, а так, черновик, репетиция. И попутно — испытание, ниспосланное каждому. Как бы экзамен — на выбор достойных для лучшего мира.

— Знаешь, сынок, не заливай мне баки. От тебя несет водкой и разит девкой. Не думай, будто поверю, что эти радости ты сменяешь на ладан и райское занудство. Так что охмуряй других, а я вумная... —

Бой-баба затряслась обиженным смехом и покинула кухню.

„О переселении душ я мог бы послушать и Машеньку...” — подумал старик. Длиннокудрый его больше не забавлял, а усатая бандерша злила сильнее прежнего, потому что всколыхнула еле-еле притихшую ревность к жене.

„Что же она, — подумал Чельшев о Жене, — меня окрестила каменщиком, а этой все прощает? Бой-бабе можно — и приспособливаться к власти, и жить на полную катушку, а мне не дозволено и малого люфта. Бывший каменщик должен дрожать в кооперативной норе, ожидая, пока его супруга соизволит явиться. А каменщик, между прочим, тоже мог бы ходить в офис”. Старик забыл, что как раз Женя уговаривала его не выходить на пенсию и что нынче, на восьмом десятке, ему все равно пришлось бы сидеть дома. Но, забыв о возрасте, Чельшев вспомнил об Америке, и ему стало совсем худо. Он поплелся в Машенькину комнату. Но Марии Павловне опять было не до отца: она самозабвенно скандалила с бой-бабой.

Бандерша, уязвленная спором на кухне, заявила Машеньке, что отпевание Варвары Алексеевны представляется ей весьма странным, поскольку Варвара Алексеевна не была верующей. Машенька злобно ответила, что, наоборот, мама была глубоко религиозна. Бой-баба снова возразила, что Варвара Алексеевна, умница и гедонистка, должна была презирать веру в потустороннее.

Тут в комнату вошел Токарев, но жену не осадил. Очевидно, сердился на бандершу. Впрочем, обуздать Машеньку было не просто.

— Да ты темна, как валенок! — кричала Мария Павловна. — Что в твоей глупой голове, кроме бибихов и цацок? Нацепила их на свои тухлые мяса —

глядеть противно... Вера! Да ты знаешь, что такое вера? Думаешь, это всучить маме платье из Тбилиси, а мама поверит, что оно от Диора? Привыкла всем пудрить мозги, так и вера, по-твоему, — обман!? А ну катись отсюда, чтобы духа твоего не было! Назвал мой муженек всякую нечисть в христианский дом!..

Бой-баба, такая разухабистая и уверенная в себе, оторопело замигала голыми веками и начала сипеть и уменьшаться, как прохудившийся надувной матрас. Но вдруг, будто ее ужалили, опрометью кинулась из комнаты и, столкнувшись в дверях с Женей, расклюпалась у той на плече.

— Что случилось? — спросила старика Женя.

— Не... не понял... — проямлил Челышев.

— Как же, Пашет?!

Женя нарочно не замечала падчерицы и Токарева, которого при падчерице укорять не могла. А старик зачарованно смотрел на раскрасневшуюся Женю, словно она впервые перед ним возникла, и его изумление длилось бы еще долго, если бы Машенька снова не закричала:

— Да что, Женька, базаришь? Чего к отцу прицепилась? Он мухи не обидит. Это я ее гоню. Думаешь, напилась? Трезвей тебя. Беги в свои Штаты, прибарахляйся! Не любишь ты России, вот что тебе скажу! — расходилась Машенька, словно Женя собиралась в Америку навечно. — Езжай. Колбасой катись. Совсем ты не русская. Русские — мы с Гришеком. Мы тут родились, тут умрем и никуда не уедем. А ты — мотай отсюда. Уведи ее, папа, а то я за себя не ручаюсь!

— Маша! — вмешался наконец Токарев, но так же, как в субботу, чересчур поздно. Пашет и Женя уже сбегали по лестнице.

Так старик остался один. Теперь Женя из лаборатории возвращалась рано, стряпала в кухне, читала в комнате (хорошо хоть на машинке не печатала), но как бы не замечала мужа. Они почти не разговаривали. Евгения Сергеевна не желала обсуждать свой отъезд, опасаясь, что Пашет разжалобит ее и отговорит. Старик же терзался молча:

„Бог с ней, с Америкой! Но к Надьке — означает назад, в сорок пятый год, к развилке жизни. Выходит, дождавшись меня, она (то есть Женя!) просчиталась и желает взглянуть, чем себя обделила. Ясно, я старый, ей со мной плохо. И Америка — это отыгрыш за долгие скучные годы с раздраженным, заевшим ее век склочником...”

Супруги молчали, но в квартире стало шумно. Бой-баба, преодолевая сопротивление Жени, все чаще приводила своих малопонятных приятельниц. Их голоса сливались в непереносимый гул, из которого старик с трудом выживал: „ОВИР... Соединенные Штаты... Приглашение... Пустят... Не разрешат...” Прежде он не подозревал, что столько людей влюблено в зарубежье и тем только и занято, что мотается взад-вперед, словно в России им не жизнь, а каторга. Появление разодетых в пух и прах красоток сразу превратило комнату в нищую конуру. Распластав джинсовые юбки, позванивая браслетами, дамочки наперебой ругали руководство, что нещедро пускает их за границу.

„Должно быть, режим костерят мужья, а эти — попугайничают, — морщился старик. — Их мужья никакие не диссиденты, а попросту ленивая, падкая до барского пирога, болтливая челядь. Безземельная дворня. Они хуже холопов. Те хоть землю пахали, а эти по-холуйски лают бар, дескать, мало откидывают им барахла, жратвы и заграничных прогук... Это какой-то особый орден. Не рыцарский,

не монашеский, а номенклатурный. Ничего они не умеют, и никто, кроме нынешнего, столь же убогого начальства, кормить бы их не стал. Я боялся советской власти, работал даже больше, чем она требовала, откупался от нее как мог, только бы на несколько часов оставила в покое. А эти ни черта не боятся и обирают старуху Софью Власьевну, как альфонсы”.

Джинсовые дамочки, словно заведенные, твердили:

— Нет, нет, двоим не подавать! Двоих не выпустят!

„Стало быть, я нечто вроде заложника”, — мрачнел старик.

Женя меж тем собирала документы.

— Ну не дуйся, Пашет, — иногда все-таки принимала к мужу. — Ведь не навечно еду. Уверена, долго там не выдержу. Все у них другое, и они сами давным-давно не те. Альф не хромает, а Надюха нарожала дочек.

„Еще намек, — мучался Челышев. — Уехала, была бы с детьми...”

— Соскучиться не успеешь, а я уже вернусь. Понимаю, вокруг суетня. Эти невозможные тетки чего-то хотят. Той — отвези, этой, наоборот, привези. У каждой куча советов...

— Да я уже смирился. Но тебя за бабьей каруселью не видно.

— Вернусь — вся буду с тобой...

— Вернешься — тоже начнешь бредить: ах, Лонгбич, ах, Пасадена! И тошно тебе будет в России, как солдату в казарме. Снова начнешь, как в увольнение, на Запад проситься...

— Не поеду... — вздохнула Женя, пораженная глубиной его печали. — Знаешь, самой расхотелось... Честное слово, обрадуюсь, если откажут.

Но судьба никогда не баловала Чельшева, и Е.С. Кныш беспрепятственно выдали заграничный паспорт.

Последнюю неделю суетня достигла пика. Женя спала не больше двух часов в сутки, бегала по магазинам и приятельницам, одурев от недосыпа, наставлений и просьб.

— В самолете отдохну, — бодрилась она, обнимая мужа. — Пашет, ну что молчишь, глупенький?! Я же разревусь... Ведь не на всю жизнь... Отпусти хоть на месяц. Неужели месяца не выдержишь?

— Я не о себе... Но если тут — крутеж, то в Америке его — вдвое. Будешь носиться как угорелая: ничего не пропустить, все переглядеть, и свалишься от спешки и новых впечатлений...

В Шереметьеве — громадном стеклянном безликом бараке — провожавшие вздыхали:

— Все переменялось.

— Этой перегородки не было.

— И той — тоже...

А Павел Родионович не мог понять, чему же меняться, если все сплошь бездушное. Проведут после тебя тряпкой, и словно ты никуда не приходил. Как в небе — никаких следов...

„Но в небе, — подумал, — нету таможни”.

На старика никто не обращал внимания. Окружили Женю и зятя. И прощались Женя и Гришка так долго, что старику почудилось, будто отлет принят женой лишь затем, чтобы вот так откровенно-безнаказанно при всех впиться в Гришку.

Но тут Женя, наскоро перецеловав приятельниц, прижалась к Чельшеву.

— Пашет, прости... Вернусь, все будет по-другому...

Но обескураженный старик не вслушивался в ее

всхлипы и лишь нетерпеливо ждал, когда жену позвонит за перегородку из желтого и голубого пластика.

Все-таки до последней минуты Чельшев не верил, что она улетит. Но Женя поднялась в воздух, и, отказавшись влезть в чьи-то „жигули”, Павел Родионович заковылял к остановке.

День был по-осеннему просторный. Покачиваясь в пустом автобусе, старик размышлял: „Хорошо, что я в Москве. В каком другом городе так затеряешься? В Сибири или на Украине докучали бы соседи”.

Однако он с любопытством глядел в окно, понимая, что высвободилась куча вольного времени. Захочет — выберется за город или забредет в какой-нибудь сквер. Может хоть полдня играть на бульваре в шахматы с такими же дохлыми стариками. Жаль, теплые дни на исходе и давно позабыл мудреные гамбиты. Эх, если бы досталась такая свобода полвека назад!..

Оттого, что в молодости осторожничал, нынче хотелось отмочить нечто рискованное. Но ничего не приходило в голову, кроме киношек.

В первый день он просидел на трех фильмах подряд — арабском, индийском и югославском. На другое утро, даже не напившись кофею, поехал в центр на новый итальянский, но фильм оказался не лучше вчерашних. Кино, тайный грех, стало для старика чем-то вроде дневных сновидений. Зять с Машенькой зашлись бы хохотом, узнав, что он смотрит. Но в темном пустом кинозале одиночество равнялось только одиночеству. Юная азиатская кинематография не могла разочаровать, ибо ничего не обещала. Зато сладко покалывала оби-

да: там, в Штатах, Женя смотрит первоклассные ленты, а он вот чем тешится...

Растревоженный, Павел Родионович возвращался домой, ел прямо из холодильника и до позднего вечера не знал, чем себя занять. Хотя разговор с Нью-Йорком стоил кучу долларов, а Альф, судя по всему, был скуп, старик все-таки надеялся: Женя позвонит. При разнице во времени это могло случиться от второй половины дня до утра. Звонить же первым Чельшев не хотел.

Шесть суток телефон молчал, а на седьмые примчались дочь, зять и даже десятиклассница Светлана.

— Плохо, пап... — запыхалась Машенька, словно бежала на восьмой этаж, а не поднималась в лифте. Она сунула отцу шершавый желтый бланк, на котором странно запрыгали латинские литеры: „Jenja tjajelo bolna” силится прочесть старик, но буквы никак не складывались, а когда складывались, все равно мало что значили, потому что „Jenja” совсем не была той Женей, что жила в этой комнате и, казалось, не улетела за океан, а лишь ненадолго выбежала к подруге. В комнате сохранялся порядок, оставленный Женей. Все здесь помнило жену, потому что сам порядок был Женей. И разве мог ничтожный листок желтой бумаги что-то переменить в комнате и в самом Чельшеве?

— Папа, не волнуйся... Ложись... Все, наверное, не так серьезно. Но ты ложись... — бормотала Машенька, а зять и внучка смотрели мимо старика.

— Уйдите. Я хочу один... — прохрипел Чельшев.

Но тут раззвонился телефон, зять схватил трубку, нервно махнул: мол, тише вы... задергал кадыком:

— Надя! Надька!.. Да, да... Слышу... Да... — и, не сдержавшись, разрыдался.

— Папуля... — в унисон Токареву захныкала внучка.

— Папа... — последней заплакала Машенька, по-прежнему не выпуская старика из своих сильных рук, чтобы не вырвал у Гришека трубку.

— Павел Родионович... — все-таки донесся до Чельшева измененный временем, расстоянием и американским акцентом Надькин крик, но тут же другой — спокойный — женский голос что-то сказал по-английски, и стало тихо.

Первой опомнилась Машенька. Она вытащила из облупившейся хозяйственной сумки „давлениемерку” (так в детстве называла аппарат Ривароччи) и больно стянула отцовскую руку черной манжетой.

— Да здоров я, здоров... — отталкивал старик дочь.

К чему мерить давление, пусть оно хоть сто раз напомнило о себе?! Ведь Жени уже нет — и не только в этой комнате, нет нигде, даже в малоправдоподобных, как полагал мальчишкой, Северо-Американских Штатах. Но *это* не могло случиться, несмотря на телеграмму, странно-протяжные звонки и заокеанский вопль Надьки. *Это* случается не так. Вон сколько мучилась Бронька. С Бронькой действительно было *это*. Или когда утонул отец... Там была река, и потом запечатанный гроб... Или мать... Пусть ее не нашел, но был морг со штабелями трупов. И на последней войне мертвых можно было потрогать руками. Все это были смерти... Но Женя, живая Женя, которую любил и мучил, которой ничего не прощал, с кем простился, не примирившись... Разве с Женей *это*? Разве Женя теперь будет не с Чельшевым, а со всеми *ними*, давно ушедшими от Чельшева?

Вдруг осознав, что никогда больше не увидит жену, старик закричал:

— Уходите все! Все — вон отсюда!

Но Машенька сжимала грушу, приговаривая:

— Папа, не крутись, не дергайся... — И вдруг, побледнев, шепнула мужу:

— Зови неотложку.

Так Павел Родионович очутился в палате на одной из шести коек. Его поместили возле окна. Было еще тепло. Чельшев не казался самым безнадежным, только старым и несчастным. Возраст и горе — не повод ложиться в кардиологию. Но в тот вечер у него просто не было сил спорить с дочерью.

— Пойми, я на вас всех не разорвусь! — сердилась Машенька. — Кто за тобой присмотрит? А там — уход...

Старику хотелось одного: плыть на своей широкой тахте, как на плоту, и медленно, еще медленней, чем рапидом, сызнова пропускать через память кинокадры с Женей. Он не мог объяснить Токаревым, что не боится смерти. Куда страшней пустая квартира. Но и квартира покамест не пустует, потому что старик населяет ее Женей. Женей во всех временах, ракурсах и платьях.

Дочь и зять опасались оставить его, беспомощного, неухоженного, со взвинченной гипертонией, и на неотложке перевезли в эту палату, где вспоминать жену было трудней, но зато легче готовиться к собственной смерти. Только что двух больных выкатили отсюда в реанимацию, и это событие служило поводом для шуток, а ночью повергало палату в бессоницу.

Старик тоже не спал, хотя был безразличен даже к загрудинной боли — первому симптому инфаркта. Мучило другое. Ведь не договорили, ничего не вы-

яснили, все обиды с претензиями оставили до ее возвращения, и вот...

Ему все еще казалось, что Женя жива, словно их ссора перечеркнула ее смерть. И потому что Челышев знал: Жени нет, но все-таки в это верил, покоя не было, давление не падало и горячая, острая, точно шампур, боль не остывала.

„Ну и помру...” — утешал себя, и становилось горько, что не открыт благодати, не верит в будущую жизнь и, стало быть, уже не увидит Женю... Не проводил до могилы, не поцеловал, не кинул земли на гроб. Или Женю сожгли? Ничего эти американцы не пишут. Понимают, что сгубили Женю...

Время в палате еле текло. Больные лениво переругивались или невесело подтрунивали друг над другом. Их шутки не задевали старика. Он непрерывно думал о кончине жены. Мысли изнуряли Челышева, однако удерживали здесь, по эту сторону жизни, в третьей терапии, на койке с приподнятым изголовьем.

„Отчего? Зачем? Кто виноват? — вспыхивало в его мозгу с неумолимостью светофора. — Стенокардия? Тяжесть долгого перелета? Волнение перед встречей с Надькой? Но с грудной жабой живут, в Америку летают, и какое такое волнение, если Женя и Надька дружили всего полтора года, к тому же тридцать лет назад?! Или смерть Жени — возмездие? В сорок пятом году не уехала, изменила своей планиде, а теперь, когда одумалась, оказалось: поздно?! Но если судьба Жени была в Америке, значит, ее годы со мной — ошибка? Все двадцать восемь лет — впустую? Ну хорошо, в Москве мы изводили друг друга. Я ревновал ее ко всем и мучил как мог. Но ведь в Сибири она казалась счастливой...”

— В Сибири у нее не было выбора. Она была

ссылной, — сказал вслух, и грудь вновь будто пропороло горячим шампуром.

Впрочем, оставались кое-какие земные заботы, и старик заставил себя вспомнить о Токаревых. Время от времени дочь и зять возникали возле его койки, но он их как бы не замечал. А тут понял: пока правоспособен, то есть может поставить подпись, надо хоть на бумаге съехаться с Машенькой. Все же хоть какая-то от него польза: квартира останется.

... — Лучше бы родственный обмен, — потупился зять. Деликатный разговор угрожал затянуться, а Токарев заскочил к тестю с творогом и термосом всего на минуту.

— Что такое — *родственный*? — спросил старик с досадой. Он считал: довольно, мол, его согласия, а пути и средства — это забота живых.

Зять, не присаживаясь, стал объяснять, что родственный обмен, по сути дела, обмен фиктивный. Пашет прописывается к Маше, а Светка — к Пашету, но все пока живут на своих прежних местах.

— *Пока?*.. Ну, иди. Пока... — буркнул Павел Родионович и спустил ноги на пол, хотя встать не велели.

— Ты чего это, батя, раздухарился? — спросил лежавший наискосок от старика худой небритый парень. Закинув руки за голову, он дышал тяжело, будто отбегал два футбольных тайма. Парень в самом деле был форвардом провинциальной команды, и первый инфаркт застиг его два года назад во время игры. С тех пор бедняга не покидал больницы, перенес второй инфаркт, и вот теперь, в ожидании третьего, пробился в московскую клинику.

— Вроде не твой сын, батя. Похож слабо и к тебе без уважения...

— Зять, — ответил старик, чувствуя вину перед

футболистом. Престарелых неохотно берут в больницы, но при этой работала Женя, и Машенька тотчас вытребовала отцу приоконную койку, куда собирались положить форварда.

— А ведь я не сразу допер... — прохрипел парень. — Гляжу, в зятке что-то не тое... Еврей? Да?

— Крещеный, — сам не зная зачем, сказал Челышев.

— Это, дорогой коллега, дела не меняет. Помните, конь леченый, вор прощенный?.. — раздался звонкий голос слева от старика. Там лежал маленький плотный мужчина с черно-сивой копной волос и угольными цыганистыми глазищами. Впрочем, слово „лежал” не определяло положение соседа. Скорее он ерзал, но и ерзал не долго. Тут же вскакивал, выбегал в коридор, возвращался, пританцовывал в проходе между койками, ударял себя по пяткам и ляжкам, пел похабные частушки и сам же радовался, как мальчишка, впервые услышавший жеребятину.

— Ох, и здоровенный у тебя гвоздь в жопе, Филипп Семенович, — удивлялись больные.

— Давно зятек учудил? — спросил цыганистый мужчина. — У меня жена тоже в церковь бегает. Но это она с детства...

— Теперь многие к вере обратились. Модно... — сказал старик, отлично зная, что все куда сложнее и серьезней. Ему не терпелось отвязаться от соседа.

— Да, мода страшная штука, — согласился живчик Филипп Семенович. — Но держится она, дорогой коллега, сезон — два. А тут нам как будто предрекают религиозное возрождение. Боюсь, новые пророки тоже попадут пальцем в небо. Что с возу упало, то — сами знаете... А жаль. С религией поспокойней. Ведь поглядишь вокруг — жуть берет.

Сплошь воровство и пьянство, пьянство и воровство. Удержу никакого. Я бы сам в Бога поверил, если б Он хоть на процент нас обуздал, а тех, кто к пирогу ближе — процента на два. А то ведь разграбим страну. Да что там!.. Сам не пойму, как до сих пор не растащили Россию? Ведь давно ничего не производим; только потребляем да потребляем. Тут бы Церкви нас усостыжить. Но что она, бедняжка, может? Тыщу лет Россией правила, а скинули — чуть ли не в один день. Почему — не объясните?

— Укоренилась недостаточно...

Изнуренный горем и бессоницей, старик не был готов к разговору.

— Десяти веков ей недостаточно? — усмехнулся Филипп Семенович. — Нет, это потому, что вера не была крепка. В России никогда Бога не почитали. Пушкин что писал? У него в „Гаврииаде” Христос — сын дьявола.

— Баловство. Бесился по молодости лет...

— Ничего себе баловство, хоть и вольтерьянское... Попробовал бы сейчас кто-нибудь сочинить, мол, мы духовные дети не Ильича, а, скажем... Ну да ладно... Нет, Николай Палкин либерал был. Простил такое. Но вот чего не пойму: если полтора века назад умные люди в Бога не верили, с чего же правнуки их поверят? Нет, не поверят. А если какие крестятся, то, честное слово, от пустоты жизни или вот, как ваш зятек, дабы вовсе отъевреститься.

— В Царствии Небесном несть ни эллина, ни иудея...

— Да. Но мы, коллега, не в Царствии Небесном, а в русском государстве, где не то что евреям, а даже славянам нет житья.

— Но с моим зятем, поверьте, не просто...

— Просто, дорогой. Просто. Я сам еврей, — перешел живчик на шепот. — Правда, не крестился. Ком-

сомольцем был. „Долой, долой раввинов, долой, долой попов!..” Не пели? Религия наизнанку. Вы какого года? Второго. Я на червонец моложе. По своему тогдашнему разуму чуть в партию не подал. Спасибо, в тюрьму закатали. Нет, не надолго. Больше в ссылке загорал. На механика выучился, оклемался, а там война и прочь судимость... Воевали? Полковник? Ах, капитан? Небогато. А где? Подходяще. Драпануть, — он совсем приглушил голос, — не собирались? Нет, не из Харбина — из Вены?..

— В голову не приходило, — нахмурился старик не только оттого, что разговор становился чересчур вольным, а потому, что вплотную приблизился к далекому Надькиному отъезду и, значит, к смерти Жени.

— А я в Германии ночей не спал, и все же не рванул. Жену пожалел. Перед самой войной сошлись. Вернулся, смотрю: не стоило ради такой возвращаться. Женился на следующей — и эта не лучше. Только после третьего захода понял: женщины — измененная нация. Теперь держу их на дистанции. Никаких привязанностей. Переспали — и будь здорова! Вообще на молоденьких перешел. С этими — проще. А вы?

— Я свое откупался.

— Не понял?..

— Где-то у Толстого дети зовут старика на пруд, а он им: я свое откупался.

— Зря. Если ноги отсюда унесу, по-своему лечиться буду. На востоке как врачуют? Старику с каждого бока по девочке подкладывают.

— Где же на всех наберешь? Пенсионеров вон сколько...

— А сексуальная революция на что? — засмеялся живчик, но тут же помрачнел. — Мне два „звон-

ка” было. Зарубцевались. Эскулапы проглядели. Извиняются: „Вы, Филипп Семенович, на ногах свои инфаркты перенесли”. А вам „звонило”? Нет? Растревожил вас? Отдыхайте. Здесь это можно...

„Я и у себя мог. Но теперь вот он, мой дом... — подумал старик и, повернувшись на правый бок, накрылся с головой. Мешало солнце. — Вот так бы и отойти. Тихая смерть под казенным одеяльцем, сбившимся в серо-застиранном пододеяльнике. Незаметно, никому не докучая, примехенько в морг, оттуда в новый загородный крематорий. И никаких отпеваний, как у Броньки. Женя не приедет и не станет, словно донна Анна, „кудри наклонять и плакать...”. У Жени были гладкие волосы... Я ее убил. Я один. От меня она сбежала за океан, а в ее годы не бегают...”

На другой день старик объявил дочери о родственном обмене. Ворочавшийся рядом на койке Филипп Семенович демонстративно отвернулся, но Чельшев чувствовал, что тот ловит каждое слово.

— Глупости, — рассердилась Машенька. — Светланке шестнадцать лет. Кто ей выпишет отдельный ордер? Меньше мудри и лежи тихо.

— Но что-то надо делать...

— Не что-то, а *нечто* определенное. Ненавижу паллиативы.

— Тогда поступай, как знаешь...

Чтоб голос прозвучал уверенней, старик сел на кровати и заметил, как недовольно дернулась спина Филиппа Семеновича.

„...Серость, тоска, холод. Боже мой, что связывает меня со всем этим?” — писал в растрепанном гроссбухе Токарев. Он сидел в маленькой восьмиметровой комнате пятиэтажного панельного дома.

За окном действительно было серо, тоскливо и холодно. Мелкий невидимый дождик сыпался на штабеля сваленных в овраг пустых ящиков, и ничего, кроме оврага и ящиков, на свете, казалось, не существовало.

„Ненавижу такое время — ни зима, ни осень. Хоть бы повалил снег, — продолжал писать Григорий Яковлевич. — Семь недель назад, когда мы сюда въехали, я, несмотря на спешку, смерть Жени, болезнь Пашета, стоя перед этим окном, чувствовал Бога. Там вдали, за ящиками, небо было синим и само спускалось ко мне. Что-то в нем было вечное и одновременно юное, словно оно было сотворено только что, но сразу и навсегда. Не окунаясь в дневник мне тогда хотелось, а через распахнутое окно вбирать в себя мое небо и ждать, когда перешагну подоконник и пойду по этому синему полю так же просто, как хожу по земле. Нет, не моя душа, а я сам, в точности такой же, каким стою в этой комнате...

А теперь дождь или изморось (через два немытых стекла не разберешь!) туманит пространство и отвращает меня от здешних мест. И Бога я уже не вижу...

А как с Ним было хорошо!.. Все, как говорят в глубинке, было *рядышком*, и я был неразделим с русским народом и прощал ему старые и новые обиды... Но вот по-дурацки умерла Жека, Машу выгнали со службы, переменилась погода, ко мне вернулись давние страхи, и я вновь ощутил, что я здесь чужой. Так было уже после Литинститута, когда не брали на работу. Но тогда я считал: это из-за биографии, а не национальности. Лишь во время хрущевской оттепели понял: лучше отсидеть в лагере, чем родиться евреем. Еврейство — это от-

чуждение на всю твою жизнь, и жизнь твоих детей, а возможно, и внуков.

... Однажды мы с Пашетом и дочкой спешили пустым загородным поселком к последней электричке и вдруг услышали за спиной пьяные голоса. Светка прижалась ко мне, а я не мог ее успокоить — сам был напуган. Пашет же плелся как ни в чем не бывало и спорил со мной, не понижая голоса. Я догадался: он спокоен не потому, что уже стар и не страшится смерти. Просто уверен, что свои его не тронут. И они действительно прошли мимо.

Потом в электричке я похвалил Пашета. Ведь пьяные, как собаки, носом чувят, кто их боится. Я признался тестю, что если ночью слышу ругань, всегда ожидаю: начнут бить...

Пашет нахмурился. Очевидно, его оскорбляла моя откровенность. Впрочем, он до сих пор недоумевает, почему я крестился. Говорит: мол, всю свою жизнь я выдавливаю из себя жида. Но разве я виноват, что не чувствую с евреями кровной связи? Не хочу плохо думать о родственниках, но вдруг Альф поскупился на докторов и Жеку не спасли... А как ее хоронили? Какое положили надгробье? Или ее кремировали? Тогда где урна? Надька ничего не пишет, и мне стыдно смотреть в глаза тестю, словно это я отправил Жеку за океан.

... Ну что ж, пусть Пашет думает о моем крещении что угодно. Но я русский интеллигент, и мне, честное слово, чужды местечковая узость, еврейский прагматизм и зазнайство. Я возвращен российской словесностью и мой Бог — Бог русского народа!

... Мы пришли с Машей в православную церковь и сразу же поплатились. Кто-то стукнул в институт об отпевании тещи. Там провели конкурс. Машу, естественно, провалили и теперь никуда не берут. А ме-

ня все так же не печатают, и денег нет никаких. К тому же мы въехали в ужасную квартиру с чужой грязью и запахами. Представляю, как разнервничается Пашет. На днях его выпишут. Дольше держать старика в клинике просто неприлично...

А ведь прежние хозяева сами вызывались привести жилье в порядок. Но Маша спешила, боялась, что Пашет вот-вот преставится, взяла за ремонт деньгами, а деньги профукала... Зря мы обменялись. Как взберется тесть на пятый этаж? И вообще не надо было его укладывать в клинику. У себя отлежался б, раз ничего опасного у него не нашли.

А то я занял отдельную, обещанную Пашету комнату, пододвинул к подоконнику стол, и теперь жаль переселяться в проходнягу. Подлец-человек, привыкает к уюту...

Седьмой час. Пора везти передачу. Хотя то, что здесь варим, вряд ли калорийней больничного..."

Захлопнув гроссбук, Токарев поднялся не сразу. Не хотелось ему ехать в больницу. Только что отшумела четвертая арабо-израильская война, и подогретое газетами и телевиденьем нерасположение к евреям весьма ощущалось в палате. К тому же туда недавно положили щуплого, подавшего на выезд семита с крючковатым носом и курчавыми пейсами. При нем Григорий Яковлевич чувствовал себя скованно.

По счастью молодой еврей куда-то вышел, зато форвард бушевал вовсю:

— Везет пархатым! Здесь насрали, теперь к себе бегут...

Появление Токарева его не смутило.

— Перестаньте, — сказал футболисту старик. —

Уйди, — тут же шепнул зятю, но тот продолжал распаковывать передачу.

— Лишнего, батя, не скажу. Бывают и у них неплохие ребята. А этот родину продал.

— Ша. Чей концерт?! — раздалось из дверей. И, пропустив вперед рослую молодую женщину, в палату в обнимку с очкастым евреем ввалился Филипп Семенович. — Кто родину продал? — прижал он локти к бокам, словно собрался драться.

Форвард угрюмо горбился на койке.

— Учти: второй раз услышу — врежу, — пригрозил живчик.

— Офигел, да? — спросил мужчина, лежавший у другого окна. Этот не столько лечился, сколько норовил заболеть всерьез. Подолгу высовывался в фортку и жадно глотал сырой ноябрьский воздух. На его фабрике началась ревизия.

— Чего, Филя, ерепенишься? — повторил симулянт. — Парень верно сказал. Разные они. У меня двое каждое лето дачу снимают, так люди хорошие.

— Небось дерешь с них?

— Да нет. Они ж как свои... А те, что едут, изменники.

— Чепуху несешь, — раздался из другого угла непререкаемый, очевидно, хорошо настоенный на окриках голос. Туда с утра лег корпулентный мужчина, должно быть, немалый начальник, потому что на вопрос, открывать фортку полностью или чуть-чуть, он отмахнулся — мол, все равно, вечером ему освободят отдельную палату.

— Уезжают, и хрен с ними. Или хочешь, чтоб остались? — усмехнулся корпулентный товарищ.

— Маркушка, не обращай внимания, — громко сказала молодая женщина. Она еще не присела, и Токарев любовался ее ладной фигурой и ловко упакованными в высокие замшевые сапоги ногами.

„Жаль, Пашета выписывают и я ее больше не встречу. Какое удивительное лицо! И на еврейку совсем не похожа...”

— Это вы изводите Маркушку? — повернулась женщина к симулянту.

— Ленусь, успокойся, — сказал молодой еврей.

— Не волнуйтесь, деточка... Эй вы, слышите?! — обратился Филипп Семенович ко всей палате. — Повторяю: первому, кто обидит Марика, отвешиваю пару апперкотов и лично обеспечиваю вынос...

Живчик закатал пижамную куртку до бицепса.

— Заткнись, Филя. Тут не ринг, а больница, — прохрипел форвард. — Тебя не трогают — не лезь.

— Как не лезь, когда я сам еврей?!

— Иди врать... Что ж не сказал? Не-е, заливаешь, — протянул форвард без уверенности.

— А вот и еврей! — воодушевился живчик, и Токарев почувствовал, как Филя горд, что уже не скрывает своей национальности. „Мне бы так... — подумал с горечью. — Но что я могу? Пригрозить дракой? Но тут в самом деле больница. А дискутировать бессмысленно. Они считают меня чужим, хотя я здесь родился и хлебнул, может быть, больше любого из них. Хорошо Пашету — он свой. Хорошо Ленусе — уедет со своим сионистом в Палестину. А я? Но какая поразительная женщина! Азартная. Глаза горят. Недаром Филя перед ней расплавлился”.

Филиппа Семеновича и впрямь прорвало:

— Ах, дети мои, гляжу на вас и молодею. Вот он, мой народ! Уедете, сабру родите.

— Да он подохнет. Там жара, — хмыкнул форвард.

— Здесь не умер, там сто лет проживет. Здесь климат хуже.

— Да ну тебя, Филя!

Футболист слез с койки и поплелся к двери.

— Сам не сыграй дубаря, — засмеялся Филипп Семенович. — Ах, Марк, смотрю на тебя и вспоминаю детство. Такие, как ты, были у нас в местечке. Ешиботники назывались. Носились с этими еврейскими семинаристами, как со святыми. Приютить, накормить ешиботника считалось великой честью. Они, как пастухи, из дома в дом переходили. И ты, Марк, такой: очки, пейсы...

— Он — кандидат наук, — засмеялась молодая женщина. Сидя на корточках, она наводила порядок в тумбочке мужа. Токарев не отрывал от нее глаз. „Как же так?! — удивлялся себе. — Я в полном прогаре. Правда, „Попытку биографии” дописал, но ума не приложу, что с ней делать? Теперь сел за большой роман и снова трясусь: вдруг придут с обыском. Наверняка я у КГБ на примете. А денег нет и ждать неоткуда. Разве что отдать „Биографию” на Запад? Но возьмут ли? Здесь я не свой — оттого и не печатают. А там кому нужен? Но допустим, „Попытку” издадут, а она не прозвучит. Что тогда? Ни денег, ни славы и лишь узкая известность среди офицеров госбезопасности... А время уходит. И у нас, и за рубежом публикуют кого ни попадя, а Григория Токарева как будто нет в живых. Уже и не помнят такого. И вдруг после всех катастроф я глаз не свожу с чужой женщины! Смешно? А может быть, чудесно? Вдруг в ней мое спасение!?”

— Это что?! — вскрикнула Ленусь и вытащила из-под стопки книг лист бумаги, на котором Токарев, сощурился, разглядел неумело выведенные череп и кости.

— „Убирайся в свой Израиль, жидовская харя, а то совсем обрежем!” — прочла она вслух. — Вы писали?! — накинулась на симулянта.

— Анонимками не занимаюсь, — ответил тот с достоинством.

— Кто-нибудь из соседней палаты подложил, — вздохнул Филипп Семенович.

— В конце концов этого следовало ожидать, — усмехнулся Марк.

— Чепуха, — сказал живчик.

— Нет, не чепуха, а реальность. Антисемитизм ведь никогда не исчезал. Лишь на какое-то время припрятался. Но после войны все, дорогой Филипп Семенович, обнажилось. Сначала нам закрыли доступ в университет и в привилегированные вузы. Затем просто в хорошие вузы. Потом перестали брать на работу. Теперь — эти бумажки. А скоро закричат в лицо: „Бей жидов!“ и начнут спасать Россию древне-дедовским способом...

— Маркуша, перестань волноваться, — сказала женщина.

— Ленусь, я совершенно спокоен. Я лишь объясняю Филиппу Семеновичу, почему мы решили уехать. Не подумайте, что из страха. В Израиле опасностей не меньше. Просто вдруг поняли, что здесь мы лишние... Три поколения еврейских интеллигентов мечтали вписаться в русскую жизнь. Они отреклись от своего Бога, от своей избранности. У них была одна страсть — стать русскими. Кажется, им это удалось. Они бредили Толстым и даже Достоевским. Да, Достоевским, несмотря на его юдофобство. Они — в том числе мы, четвертое поколение, — считали Россию своей родиной, а себя — русскими. Недоброжелательство же части низов и верхов мы относили либо к отсталости первых, либо к вынужденной реакции вторых на происки так называемого международного сионизма. Но что меня, Ленусь и всех наших друзей потрясло больше всего — это ненависть к нам не ка-

ких-то подонков или чиновников, а настоящих интеллектуалов. Да, да, писателей, поэтов, художников и нашего брата — физиков. Они безоговорочно объявили нас чужими, безродными, даже вредными для России... И тогда мы поняли: надеяться не на что, и вернулись к себе, к своим забытым истокам. Вспомнили, что мы — избранный народ со своими предназначениями, стали зубрить иврит, учить талмуд и, с мукой, с обидой оторвав от себя Россию, подали на выезд.

— Больно нервные, — пробурчал корпулентный мужчина. — Подумаешь, малость прижали, так сразу охают: свои, чужие! Вас бы, как нас, в тридцать третьем годе голодушкой поморить, что бы запели?!

— Если бы хоть сразу выпускали, — сказала молодая женщина. — Но ведь никогда неизвестно, разрешат или влетишь в отказ... А что касается голода, — повернулась она к корпулентному, — то меня этим не испугаешь. Я восемь дней голодовку держала.

— Бедненькая, — посочувствовал Филипп Семенович.

— Дурачье, — сказал корпулентный. — Всех надо выпускать. Пусть едут. Наконец-то избавимся...

— Точно, — поддакнул симулянт.

— Я вам глубоко сочувствую, Марк, — вступил в дискуссию старик Чельшев. Ему мешало присутствие зятя, но ввиду оголтелости корпулентного молчать тоже стало неловко. — Нехорошо, что в России всех делят на коренных и пришлых. Но, боюсь, как бы и в Израиле вам не оказаться приезжими. У каждой нации достаточно предрассудков.

— Евреи не нация, — осклабился симулянт.

— Боже мой, да у тебя сталинская каша в голове, — засмеялся живчик. — Дай послушать умных людей. Так что ты, Пашка, начал про Израиль?

— Что там свои сложности. Я несколько представляю тамошних жителей. Во всяком случае, тех, кто уехали сразу после гражданской войны. Тогда тоже выпускали со скрипом. На эмиграцию решались лишь самые отчаянные. Помнишь? — спросил живчика, не назвав его ответно — Филей.

— Не помню. Я из дому убежал. Наша братва больше перла в комсомол или в партию.

— Скажи лучше — в Троцкие и Зиновьевы... — хмыкнул симулянт.

— Точно, — раздалось из другого угла.

— Точно-то — точно, но без Троцких тебе вряд ли обломилась бы отдельная палата, — с недобрим прищуром поглядел в угол Филипп Семенович.

— А у меня дед прасол был. Я бы и так не пропал, — усмехнулся корпулентный мужчина.

— Так вот, Марк, — продолжал старик, — ехали в Палестину самые решительные и смелые, но, простите, не интеллигенты, а местечковые граждане. Этим легче было подняться. Они в здешнюю жизнь не больно вросли да и благодарить Россию им, честно говоря, было не за что. Жили они замкнуто, до минимума сократив общение с чуждым миром, не слишком им интересуясь и мало его понимая. Боюсь, что, осев в Палестине, они не изменились, и с той же местечковой непримиримостью делят людей на своих и чужих, коренных и пришлых. Ребята они, безусловно, храбрые, воюют превосходно, но вот мира с арабами не добьются. Очевидно, все из-за той же провинциальной узости, зазнайства, из-за нежелания понять врага и его проблемы.

— Это клевета! Израилем руководят европейски образованные люди! — Марк даже побагровел.

— Прекратите!.. Ему нельзя волноваться, — рассердилась молодая женщина.

— Ша. Тихо. Никакого спора, — шутливо вздел

руки Филипп Семенович. — Молодцы, детки. Завидую вам, что едете. Но сам я, грешный, полюбил Россию и ее женщин. Ничего не напишешь. Первая жена русская, вторая и третья — тоже. Дочери записаны русскими, а внуки, может, и не догадываются, что их дед семит. Прикипела еврейская душа к славянской расе, а? — подмигнул симулянту. — Правда, случалось и наоборот. Что молчишь? Старшая твоя дочка — о младшей не скажу — с прожидью?

— Ну и что? Старшой брат должен быть сверху, — хихикнул симулянт.

— Смешного мало, — раздался начальственный окрик. — Наплодили полукровок — ни туда их, ни сюда... По мне такие еще вредней.

„Бедная Светка, — подумал Токарев о дочери. — Этот зверюга на мой крест не посмотрит. Что ему крест, когда он зоологически ненавидит?“

— Выкурить всех до последнего, — заключил корпулентный потомок прасола.

— Значит, сжигать не собираешься? — спросил живчик.

— Я с Гитлером воевал, — насупился корпулентный. — Но огулом фрицевское не лаю. Полезное и у него было.

— Например, своих евреев перевел? — побледнел Филипп Семенович.

— А что мне до тамошних, когда тутошних вижу больше, чем надо?!

— ... И все-таки, Павел Родионович, Израиль — типично западное государство, — повторил Марк.

— Зазнайства бы израильтянам поубавить, — вздохнул живчик. — Пашка прав. Надо им добиваться мира с арабами.

— И с палестинцами? — вспыхнул Марк.

— С этими — в первую очередь. Соорудите им нечто вроде буфера или лимитрофа.

— Арафат никогда не согласится...

— Тогда найдите другого, поговорчивей.

— Эге... — снова раздалось из угла. — Гитлера ругаешь, а квислингов ищешь.

— А ты что, за арабов? — спросил Филипп Семенович.

— Нет. Нам арабы до лампочки. По мне пусть все черные, желтые и прочие дети разных народов мотаются отсюда. Кто намылился, пусть отваливает, а кто не желает, заставим.

— Точно, — обрадовался симулянт.

— А дочку от евреечки куда денешь? — усмехнулся живчик.

— Пусть они, Филипп Семенович, успокоятся. Чуть Маркушка поправится, мы сразу отправимся в так называемое местечковое государство, — сказала Ленусь и обняла мужа.

— Вы меня не поняли, — смутился старик. — Я весьма сочувствую вашей будущей родине. Воссоединить народ спустя двадцать веков — это подвиг. Но вот что меня тревожит: те же двадцать столетий мир почти сплошь пребывал христианским. А евреи, стремясь сохранить свою религию и свою самобытность, естественно, прошли мимо...

— Христианство одно из ответвлений иудаизма! — перебил старика Марк.

— Вряд ли. Но если даже так, то ответвление стало магистралью, и, отринув христианство, теряешь две тысячи лет духовного опыта. Я не так ортодоксален, как мой зять, — кивнул старик на Токарева, — но все ориентиры, все эталоны добра и зла у меня да и, наверное, у вас — христианские. А в Израиле, действительно государстве-чуде, возведенном на крови погромов, на пепле освенцимов и на

ненависти всех антисемитов, боюсь, вам будет не доставать Спасителя.

— А мы Его забывать не собираемся, — сказала молодая женщина.

— Э нет, — усмехнулся живчик. — Чего уж нет, того нет... Без иудаизма как слепишь немецких, африканских, бухарских, грузинских и еще наших российских пришельцев? Вокруг сто миллионов арабов плюс заковыка с нефтью. Так что против зеленого знамени Ислама поднимай белое с шестиконечной звездой! А Христу, хоть Он оттуда родом, через две тысячи лет нету места в Иудее.

— Вы совершенно не правы. Израиль — демократическая страна, — разнервничался Марк. — При демократии все возможно. Даже иудо-христианство. Я знаю таких.

— Смотри, все-то у них есть, — подивился симулянт.

Корпулентный мужчина, видимо, хотел что-то добавить, но вдруг побледнел, приподнялся на кровати и сорвал со спинки шерстяной, в косую клетку, халат.

— Ты что? Тебе ж нельзя! — удивился симулянт, но корпулентный лишь махнул рукой и выбежал из палаты.

— Доспорились... Довели мужика... — зевнул симулянт.

— А ты бы судно ему поднес, если жалостливый, — сказал живчик.

— Он при девчонке не станет...

— Позовите его. Я выйду, — предложила Ленусь.

„Мелочи больничной жизни... Как же Пашет, когда лежал, обходился? Ни я, ни Маша санитаркам рублей не совали. При своей деликатности, наверное, страдал, бедняга...” — подумал Токарев и робко взглянул на тестя. Тот лежал вполне отрешенно.

Вдруг распахнулась дверь, и форвард втащил в палату внука прасола. Тот в распахнувшемся халате стал как-то тощей и ниже ростом.

— Х-хы, х-хы, — дышал он часто, и его „х-хы” походило на стон.

„Раз, два, три...” — стал зачем-то считать Григорий Яковлевич. Секундная стрелка на ручных часах пропрыгала четверть круга, когда корпулентный прохрипел в девятый раз.

„Почти, как пульс...” — подумал Токарев.

— Да не пугайся! Главное, не дрейфь, — Филипп Семенович подошел к койке корпулентного, но тот словно его не слышал и не то стонал, не то всхлипывал.

„Шесть... восемь... двенадцать...” — продолжал считать Токарев. Получалось сорок восемь вдохов в минуту. Теперь они напоминали бульканье, будто в легкие корпулентному набуровили воды.

— Его мутит. Подставьте судно, — сказал живчик, но симулянт отвернулся к окну, а форвард распластался на своей кровати. Видимо, и его прихватило.

— Отвернитесь, деточка. Я займусь Аникой-воином, — подмигнул живчик жене Марка и достал из-под койки фаянсовый подсов. — Смелей, паря. Два пальца в пасть и разом... Э, да ты уже зеленый... Ну, мигом кто-нибудь за врачом!

Жена Марка выскочила в коридор и вернулась с заполошной докторицей. Та, отогнав живчика, села на койку корпулентного и стала измерять ему давление.

— Да он захлебнется! — сказал Филипп Семенович.

— Не учите. Вы мешаете... — Врачиха покраснела. Она никак не могла пристроить к аппарату Ривароччи грушу, из которой выпадал резиновый шланг.

— Позовите сестру. Пусть принесет историю болезни! — крикнула врачиха. Голос у нее был растерянный.

Ночная сестра, лихая бабенка с богатым и почти неприкрытым бюстом, видимо, успела клюкнуть, но, не подавая виду, бегала расторопно. Тут же принесла большой шприц и всадила корпулентному в ягодицу.

— Легче тебе, миленький? — спросила на удивление ласково.

— Не-а, по-од-со-ов... — сквозь всхлипы процедил потомок прасола.

— Садись, красавчик, садись... — Сестра подняла его за плечи.

— Ширму поставьте, — сказала врачиха. Она упрямо листала историю болезни, но, взглянув на лихую бабенку, самолюбиво добавила:

— Уколы не помогут. Везите капельницу.

— Покличьте кого-нибудь еще, — весело сказала бабочка, и вторая медсестра вкатила желтую ширму.

„Точно такая отгораживала тещу... — вспомнил Григорий Яковлевич. — Зря я тогда к ней не входил. Проворонил ее смерть, а писатель таким опытом пренебрегать не имеет права. Неужели и этот помрет?“

С койки тестя ничего не было видно. Ширма проглотила всего внука прасола. Лишь высывался белый, будто из пемзы, изъеденный псориазом локоть. Никаких злобных чувств к корпулентному Токареву уже не испытывал. Их смело любопытство. Он даже перестал смотреть на Ленусь. Впрочем, та сидела к Токареву спиной, заслоняя от Марка столпившихся в палате сестер и круглого, как гиревик, реаниматора.

„Этот из самого ада вытащит“, — с восхищением

разглядывал Григорий Яковлевич розовощекого усатого врача. Реаниматор держался весело, словно готовился к чему-то приятному, скажем, к жаренью шашлыков, а не к возне с полумертвым телом.

— Кислорода, ясное дело, нету, — усмехнулся усач, когда отвернули настенный кран. — Тащи наше хозяйство, — кивнул молоденькой, очевидно, реанимационной сестре.

Дверь в палате распахнули на обе створки, и вслед за капельницей сюда въехал стол со шприцами и склянками, второй стол с непонятными Токареву приборами, а теперь молоденькая сестра вкатила за ширму что-то черное, кожаное, похожее не то на сумку, не то на седло.

— Давай дыши, не ленись! — подбодрил сестру усач, и через щель в ширме Токарев разглядел, как реанимационная девчонка, нагнувшись, словно при стирке, стала сжимать черную штукювину.

— Дыши, дыши, не сачкуй! — повторил усач, но его голос больше не казался веселым. — Разрежьте рубаху, — сказал тише. — Справа, справа. Еще правой...

— Не смотри, — шепнул зятю старик, но Григорий Яковлевич вертел головой до неприличия.

— Прямо в грудь запузырили, — заговорщицки подмигнул Токареву симулянт. Этому все было видно. — Чик-чик ножничками кожу, и вон как пошло! В грудь не то, что в вену.

Токарев и сам заметил, что жидкость в капельнице забурлила, как кипяток.

— Накачают раствором, будет как новенький... — восхищенно сказал симулянт.

— А ну, разговорчики! — рассердился реаниматор. — Отвернись, мужик. Это тебе не телевизор.

Высунувшись из-за ширмы, усач погрозил симулянту и устало вздохнул:

— Тесно здесь и больные реагируют. Везите его, девчата, к нам.

Снова все зашевелилось. Один стол отъехал к окну, второй — в коридор, ширма сплющилась, и койка с белолицым несчастным потомком прасола, которого уже никак нельзя было назвать корпулентным, медленно и торжественно, как катафалк, выплыла из палаты.

— Побазарили, — прохрипел форвард.

— Н-н-да-а, — сказал живчик, и оба недружелюбно взглянули на Токарева, хотя тот за весь вечер не раскрыл рта.

„Кончились их распри, — подумал Григорий Яковлевич. — Перед смертью они все заодно, и я для них — снова чужой, потому что не болен. Как бы там ни было, а чужой...”

Вяло кивнув тестю, Токарев спустился в вестибюль, оделся и вдруг решил подождать жену Марка. Гардеробная нянечка, снизойдя к его рваному пальто, не погнала Григория Яковлевича на холод.

Наконец по лестнице застучали сапожки, и, вырвав у гардеробщицы шубку, Токарев подал ее молодой женщине.

— Спасибо, — сказала Ленусь. Ее плечи дернулись, и он понял, что она на взводе.

Женщина застегивала шубку, и нельзя было дать ей уйти одной. Обычное в таких случаях: „Откуда вы такая?” или „Где вы были всю мою жизнь?” нынче не годилось. Нужно было что-то проникновенно-серьезное и пронзительное. Тогда шепотом, чтобы не посвящать нянечку, однако не скрывая волнения, Токарев спросил:

— Значит, уедете?

— Намылились, как сказал этот мерзавец... Простите, этот бедняга... — усмехнулась Ленусь, и Григорий Яковлевич приободрился. Все-таки не был он

уверен, станет ли с ним разговаривать эта женщина. В палате он держал себя индифферентно, и после реплики тещи Ленушь могла решить: раз он выкрест, то заодно с юдофобами.

— Намылились, — повторила женщина, — но у Маркушки микроинфаркт.

„Последствия овировских стрессов. Куда этому дохляку тягаться с русской державой?“ — подумал Григорий Яковлевич и вывел женщину на больничный двор, посветлевший от медленно летящего снега и круглых матовых фонарей. „Погода! — обрадовался, — лучшей не пожелаешь! Начало зимы — начало любви. Все! Больше о Маркушке ни слова!“

Но на черно-белом просторном дворе Ленушь в своей легкой бельевой шубке и похожей на чулок вязаной шапочке казалась нищему, оборванному Григорию Яковлевичу еще недоступней, чем в палате. „Боже, чем я могу привлечь такую женщину? — снова ощутил он свою неизбывную беспомощность. — Ведь меня почти нету. Есть Маша с пьяными взбрыками и плачем. Есть Светланка с капризами, двойками и неуправляемым характером. Они либо меня поглотили, либо сквозь меня проросли. Я — жалкое подобие прежнего Токарева. Чем я, теперешний, могу завлечь такую женщину?“

Все-таки он схватился за последнее:

— А не жалко покидать все *это*? — Он обвел рукой потемневшие от соседства со снегом безжизненные призмы белых панельных корпусов.

— Раньше задумывалась, а теперь уверена: не жаль...

— А вдруг все-таки затоскуете?

— Исключено. Но вы этого не поймете. Вы плохой еврей... Не обижайтесь. Я тоже, если бы не Марк,

стала бы плохой еврейкой. Наверное, крестилась бы, как вы.

„Все-таки зацепил я ее...” — повеселел Токарев, даже не огорчившись, что женщина видит в крещении нечто недостойное.

— Я жила совсем плохо. В суете, в крутне. Теряла себя и ничего не получала взамен. А вы нашли себя в православной Церкви?

— Ищу... — смутился Григорий Яковлевич.

— Простите, я спрашиваю не из любопытства. Мне это в самом деле важно. Что вас толкнуло на такой шаг? Ведь вы умный. Марк мне сказал, что вы критик и ваша фамилия Токарев. Я хорошо помню ваши статьи. Мы когда-то их читали всем курсом. Почему я теперь нигде не встречаю вашего имени? Вы под запретом, потому что крестились? Или, наоборот, вы крестились из протеста, что вас не печатают?! Или в самом деле поверили в Бога? Но ведь Бог и Церковь не одно и то же...

„Одно...” — едва не возразил Токарев, но понял, что спор уведет в сторону. Когда-нибудь он ей все объяснит. Он расскажет, как в далеком детстве уже сомневался в горьковской справедливости: особняк, электрические игрушки, голубой велосипед; как в несчастье с отцом увидел некое возмездие; как в Сибири восхищался русскими людьми, их открытостью, их беспечной незаботой о будущем и почти детской уверенностью, что с ними и с их страной все обойдется (а ведь шла такая война!); он расскажет этой удивительной Ленусь, то есть просто Лене, как новая любовь к России загасила в нем прежнюю, унаследованную от матери мечту о мировой революции. (Потом, когда снова объявили о ленинских нормах, он был только рад, что имя отца очистили от лишней грязи, но сами по себе нормы ему были уже ни к чему... Он разуверился в

марксизме.) Когда-нибудь он признается Лене, как вдруг ему стало одиноко, холодно, страшно, словно очутился ночью в чужом проходном дворе... А ведь это его страна. Никаких иных держав он не видел; других языков не знает; даже весьма средне знаком с чужой историей. Он здешний, свой. Это его Россия, и вера России, вера Достоевского — его вера, что бы там Достоевский ни писал о евреях! (Впрочем, Достоевский имел в виду иной тип сознания!) Лена все поймет...

А сейчас, остановившись и повернув женщину к себе, он хрипло выдохнул самое простое:

— Почему поверил? От страха... От одного страха...

Ему хотелось обнять женщину, чтобы разом утопить в ней всю свою тоску и все отчаяние, но он чувствовал: еще рано, может сорваться... И хотя лицо Ленусь было совсем близко, он только шептал горячо и поспешно:

— От страха... Без Бога страшно... Я это однажды понял в самолете... Мы попали в болтанку. Вокруг — молнии и сплошные тучи. Все это летит на тебя. Лайнер швыряет вверх, вниз, перекидывает с крыла на крыло, а ты беспомощен, незащищен, унижен...

Увлечшись, Токарев забыл, что летал не часто, в болтанку не попадал и пересказывает не свои впечатления, а тестя. Это Пашет с Женей позапрошлой осенью возвращались из Крыма, и их самолет долго не приземлялся. Тогда Пашет уподобил авиационную тряску земной жизни, и Токарев воодушевленно излагал молодой женщине сообщения старика.

— Понимаете, как несчастлив человек в болтающемся лайнере? Пол под ногами — не пол, а одна видимость. За тонкой обшивкой — бр-р-р... —

холодная смерть. Но пассажиры либо листают тонкие журнальчики, либо с любопытством поглядывают в иллюминаторы. Грозы, молнии, бешено летящие облака — весь этот законный апокалипсис ничуть их не тревожит. Они верят в надежность лайнера и в опытность его командира... Вот так же и в нашей жизни: громов, скоростей, ужасов и безнадег — не сосчитать, но если веришь в разумность мироздания и в благость Господа, то не боишься, как бы тебя ни трясло и ни швыряло. Я понятно говорю?

— Скорей красиво, — грустно усмехнулась молодая женщина. — Слишком красиво. Но я вас понимаю. Вы какой-то для меня открытый, словно нарочно распахиваетесь. Это, наверное, оттого, что вы тоже несчастны...

В комнате было метров тринадцать, но две стены изгадили обычные двери, а третью — балконная, и широкую тахту втиснуть не удалось. Старику стелили на внучкином коротком диванчике. Стена, у которой лежал Чельшев, не выходила на лестничную клетку, однако он слышал, как хлопают двери на всех пяти этажах. То ли дом разохся, то ли с самого начала его плохо слепили, а Павел Родионович, обзаведясь на восьмом десятке бессоницей, слуха не потерял.

Впрочем, спать мешало многое. Старик не предполагал, что квартира окажется такой запущенной. Обои, сальные и в непонятных разводах, были — особенно понизу — ободраны сплошь. Видимо, прежние хозяева держали собаку. В кухне из-за грязи неприятно было есть. Ванна заржавела, и, представляя себе, как еще недавно в ней купали пса, старик мылся стоя, отчего вода разбрызгивалась по полу.

— Не вытирай! Сама вытру! — кричала через дверь Машенька. — И не вздумай стирать свое белье. Разведешь грязь или прольешь на соседней. Сама потом ваши сранки выполоскаю.

В квартире было три комнаты. Но отдельную занял зять, внучка с Машенькой теснились в крохотной запроходняге, а старик жил на тычке, мешая всем. Ночью не спал, мучился днем, пока однажды не вспомнил о балконе. Напяливая на себя все мыслимые одежки, он теперь вытаскивал туда табурет (стул не уместался) и сидел часами, похожий на сторожиху. Потому окрестил себя по-польски „старушкóм”. Стыдясь прохожих, вниз он глядел редко, а чаще — вдаль, на овраг, из которого вырастала гора ящиков, или вверх — в серое небо. Балконную дверь, чтобы не дуло, за ним закрывали, но он чувствовал, как нет-нет, а кто-нибудь из домашних посмотрит в стекло: мол, не помер или не сиганул через перильца? Помереть старик был готов, однако валяться на тротуаре дряхлой, обмотанной шарфами и шальями, куклой не хотелось...

„Я тут как в вольере, — думал Чельшев. — Пятый этаж без лифта — вот она моя смерть...”

Возможно, он набрался бы духу спуститься на улицу и возвращался бы не спеша, приваливаясь к стенкам на каждом полумарше. Но тогда его заставили бы выносить мусор, загрузили бы магазинами, прачечной и еще Бог знает чем. Поэтому он выбрал тесный балкончик. Ненадежно приваренная к стене люлька стала последним прибежищем. Порой, как ребенок, теряя чувство реального, старик воображал, что отсюда по воздуху ближе к Америке, и значит — к Жене. Но бред кончался. Чельшев стучал в стекло, и если дверь открывала внучка, то ворчала:

— Дует... Надо заклеить балкон. А то я никогда

не избавлюсь от насморков и не получу аттестата зрелости.

„Не получишь, потому что не тем занята”, — мысленно отвечал ей старик. Он уже кое-что знал о внучке. Однажды, когда дочь и зять ушли, Светлана заперлась с телефоном в отдельной комнате.

— Значит, сдаешь? На пятерки? Ах, у вас еще зачеты... — щебетала внучка, забыв, что стены отлично проводят ее голос. — Все-все время трудишься? Умник. Умник, говорю. Как живу? Плохо. Есть причина. Нет, не школа. Родители? Х-м... Они сами по себе. Я на них не похожа. Я монахиня. Не смейся... Хорошо, не монахиня, а затворница. Никуда не выхожу, вроде деда... Живехонький! Пронесло. Это бабки испарились... Макабр? Что такое макабр? Ах, это когда смеются над смертью. Поэтому и смеюсь, что жить не хочется. Тебе интересно? Что же не звонил, если интересно? Ах, новый телефон потерял?! Вовремя потерял... Почему? Потому что у меня сейчас то самое, что весной... Не помнишь? Напрасно. Напрасно, говорю, не помнишь. Тебя тоже касается. Ах, догадался?! Ну и как?

„Вот почему Машенька не вызвала ее на похороны Броньки! Она была после аборта. Шестнадцать лет — что за роковой возраст...” — вздохнул старик, тут же ощутив свою вину перед внучкой. Не качал, не растил. Машенька на версту не подпускала Женю к Светланке, и Чельшев из солидарности не приближался. Только дарил коляски, одежды да трехпроцентные облигации.

— Ну, проглотил язык? Вкусно? Не бойся... Ах, смелый?! И что посоветуешь? Спасибо твоей бабушке. Зачем звоню? Не для того, чтобы учил. А мне без разницы, что ты там думаешь. Тебе — тоже? Не верю. Меня не колышет, а тебя колышет. Ты трус. А мне так вообще на все наплевать. На тебя, на

школу, на всех-всех!.. — кричала за стенкой внука. — А вот докажу. Возьму и слиняю. Нет, не в Крым. Что там хорошего? Там сейчас дождь. В Америку — вот куда. Тетка за мной прилетит.

„Неужели они пригласили Надьку? — испугался тогда старик. — То-то зятек подкатывался: неплохо, мол, Пашет, освежить квартиру, переклеить хотя бы обои. Ничего себе освежить! Это все равно, как грязного, потного, годами невымытого обрызгать „шипром“. А на какие, извините, шиши? Все ушло на поездку Жени. Неужто приедет Надька? Хоть бы Альф ее снова отговорил. Год назад он писал, что не пустит жену в Совдепию, откуда с таким мучением вырвались. Вспомнить страшно... А потом еще пришлось бежать из Польши, где по ночам бандиты убивали коммунистов и еще охотней — евреев. Он, Альф, был тогда хромым, Наденька еле жива после выкидыша, а пришлось переходить две границы и шесть лет в Баварии ждать американской визы. Так что Наденьку он в СССР ни за что непустит. Вот если можете, приезжайте погостить к нам. Примем как своих. Тут вам понравится, потому что где и жить, как не здесь, где люди друг другу не мешают и НКВД не боятся...”

Итак, днем Челышев торчал на балконе, а ночью прислушивался ко всяким стукам, шорохам, голосам на лестнице и особенно к негромким монологам, роняемым в переносной телефон. Казалось, квартиру занимала не одна семья, а три независимых человека, причем наличие других каждый считал чуть ли не покушением на собственную свободу. Жили здесь порознь, спали порознь, обедали порознь, даже молились в разных комнатах. У зятя висела старая, с двумя ковчегами, очевидно, XVII

века неотреставрированная икона, а у Машеньки — аляповатая, явно недавняя мазня.

Если внушки не было дома, Мария Павловна тянула телефон в запроходнягу, но разговаривала чересчур осторожно, пересыпая монологи междометиями, обрывками незнакомых старику песенок, афоризмов и анекдотов. Только о Надьке она говорила без обиняков. Возможный приезд золовки ее раздражал. Чем кидать деньги на „эру-ей”, прислала бы племяннице тряпок. Девчонке надеть нечего.

„Нечего? — сердился старик. — Да она разгуливает в юбках и свитерах Жени”.

Зять забирал к себе телефон за полночь и чаще всего звонил жене Марка. Старика это уже не задевало. В конце концов должен человек с кем-нибудь отвести душу, если жена от него отвернулась.

Утром зять поднимался раньше всех, фыркал в ванной и на цыпочках прошмыгивал в запроходную комнату будить Светланку. Переругиваясь, они шикали друг на друга:

— Не ори, всех перебудуешь...

Но старик давно не спал, а Машенька, если не возвращалась пьяной, глушила себя снотворными и все равно не вставала раньше полудня.

Накормив и выпроводив дочку, зять часов до трех не подавал признаков жизни. Правда, иногда, разозлясь на Машеньку за чрезмерные, на его взгляд, расходы, Токарев принимался за хозяйство, бегал в магазин и остервенело бряцал в кухне кастрюлями. Это длилось день-два, потому что денег выходило столько же, а варево получалось еще ужасней.

От здешней пищи старик маялся желудком и надолго застревал в санузле.

— Опять заколодило, — ворчала за дверью Машенька, а старик вспоминал привольную жизнь с Женей, когда в комнате стояло глиняное блюдо с фруктами: ешь — не хочу. У Токаревых же апельсины или яблоки — и то изредка — покупались для одной Светланки.

„Отец Горио! — издевался над собой Чельшев. — Однажды проснешься — зубы нечем будет почистить”.

Пока он лежал в больнице, Машенька получала его пенсию, и теперь он тоже отдавал ей всю до копейки. Потому-то на улицу не выходил: в кармане было пусто. Машенька же денег отцу не предлагала. Вот и остались балкончик да еще сызнова заработавшая „Спидола”. Ее мнимая инвалидность оказалась весьма кстати. Иначе бы не избежать ей участи Жениных секретера и кухонной мебели, которые дочь за гроши оставила прежним соседям. Недавно прекратили глушение западных станций, и, укутав приемник, старик часами баюкал его на коленях.

„Позвонить Филе? — подумывал иногда. — Но сюда ведь не пригласишь, а к нему не поедешь. Да и дома ли он? Если не помер, вернулся на службу, и ему не до меня. Нет, нехорошо таким „старушкóм” на глаза Филе показываться. Засмеет”.

Чельшев часто вспоминал один из рассказов палатного соседа:

„Старость, Пашка, гроб... Непобедимый склероз. Живет с нами тетка жены. Знаешь, что выкидывает в благословенный день пенсии? Получит свои сорок священных тугриков и тут же заказывает такси. Видите ли, ей надо торт купить и навестить приятельницу. „Теперь отвезите меня на Воздвиженку”, — просит шофера. У того глаза на лбу. Небось еще не родился, когда Воздвиженка стала улицей Калинина. Как там они выходят из положения, не знаю, но

едва шеф подвозит ее к нужному дому, мадмуазель вспоминает, что ее закадычная подруга здесь больше не живет. Она, понимаешь ли, давно на Ваганькове. Тогда, чтобы не пропадать торту, пенсионерка велит везти ее на Мясницкую. Начинается та же комедия, и, наконец, на улице Кирова старухе приходит на память, что мясницкая ее приятельница тоже покоится где-то там, куда на такси не подъедешь. Словом, после четвертой или пятой попытки мадмуазель в истерике, прижимая к груди раздавленный торт, возвращается „нах хаузе”. Это двенадцатое число у нас, как день „икс”. Я уж говорю жене: „Отнимай у нее пенсион. Ведь загнетса прямо в Волге”. Куда там! Палкой отбивается старушенция...”

„Склероза у меня как будто нет, но пенсии — тоже” — усмехается Павел Родионович. Второй час ночи. За стенкой зять клянется в любви жене Марка. Оказывается, завтра ешиботника выписывают из больницы, и через неделю они будут в Вене.

— Ленусь, у меня дар пророчества! Мы встретимся... Мы не можем навсегда расстаться. Увидишь, мы будем вместе, и даже очень скоро... — разливается зять.

„Господи, и охота ему врать на прощанье...” — вздыхает Челышев.

Но однажды утром пенсионного дня Машенька говорит отцу:

— Пап, тебе в проходных плохо. Перебирайся в отдельную. Гришек закончил роман.

„Какой роман? С Ленусь?” — усмехается старик, но вслух бормочет: мол, в проходной ему удобней. Там балкон.

— В проходной будет Светка. Пока она в школе, насидишься.

„Значит, снова сходятся...” — догадывается Челышев и настаивает:

— По-моему, в отдельной удобней вам.

— Нам удобней так. Не спорь.

— Тогда можно туда Светланку. Она хотела...

— Мало чего она хотела! Она и дубленку хочет. Откуда я возьму ей дубленку? — ворчит дочь, но старик понимает, что дубленку Машенька раздобудет. Перед Светланкой она столь же беспомощна, как старик перед Марией Павловной.

— Гришек, перетаскивайся, — кричит дочь, и Токарев стыдливо переносит в запроходную каморку книги, тетради, икону, простыни и рваные брюки.

— Видишь, тут лучше. И тахта — твоя, — морщится Мария Павловна, но старик ее лица не видит. Ему неловко, и он вздыхает:

— Неудачно ты, девочка, обменялась.

— Ужасно, папа, неудачно. Скверно. Даже не представляешь себе, как скверно. Гадко. Все гадко. Я сама гадкая... — Машенька вдруг тычется лицом в пиджак отца и плачет. Сколько мечтал об этом, и вот — пожалуйста... Но теперь старик напуган. — Ох, папа, все не так... И с тобой не так... Не надо было нам съезжаться. Разве ж я сквалыга? Просто жизнь собачья. За что ни бралась, все у меня выходило не в ту степь... А ведь не уродина, не дура. Говорили, способная. Говорили, завоеешь мир. Мужчины у тебя на посылках будут. А на самом деле я вкалывала на них, как негритянка... Отчего такая невезуха? Другие бабы и глупей, и уродливей, а их на руках носят. Чего мне не хватило?

„Женственности, — с горечью вздыхает про себя старик. — Всегда хотела настоять на своем, всех облагодетельствовать по-своему...”

— Вечно мне надо было вынь да положь, — будто слышит мысли отца Машенька. — Ждать и терпеть не умела. Ну что за дурацкая натура?! Вся жизнь прошла впопыхах: это не заканчивала, за другое принималась, и оттого ничего толком не успевала. Но ведь сколько на меня взвалили?! Сильная, вытянет. Посмотри на Гришека. Ангел! А ведь это я его тещу. Уже седой весь, а психология словно у юноши. Романтик. Подавай ему что-нибудь воздушное. Обычной жизни знать не желает. Даже денег зарабатывать не научился... Вот и разрываюсь я на всех, и никому от меня нету радости. Мама моей помощи не видела, и Витька, хоть женился, все равно какой-то заброшенный.

„При чем тут Витька? — недоумевает старик. — Чем худо Витьке? Мясо из рефрижераторов он ворует, а дачу ему оставила Бронька...”

— Заброшенный Витька... — плачет Машенька. — И ты, папа, тоже... Не хватило меня на всех. Выдохлась...

— Ну что ты, девочка?! Ты еще вон какая...

— Нет, папа. Скверны во мне, скверны многого! — рыдает Мария Павловна, и старик, утешая ее, чувствует подобие счастья, насколько это возможно вдовцу преклонных лет, лишенному угла и привычного уклада.

На этом чудеса не кончаются. Почтальонша приносит пенсию. Челышев кладет ее на потерявший былое сияние Женин холодильник. Но тут же в камеру врывается Машенька и возвращает отцу все двенадцать десятков.

Старик рад, что дочь разбогатела. Но теперь ему стыдно, что, боясь Машеньки, он не вручил почтальонше ее законного рубля. Впрочем, к чему омрачать такое доброе утро? И Челышев натягивает на ноги суконные, самолично когда-то купленные

мокроступы „прощай молодость”. Женя грозилась их выбросить, но не успела. Обычно она сама покупала старику обувь. Особенно хороши последние финские ботинки на белом меху. Но нынче в них ушел зять.

Экипировавшись куда легче, чем для балкона, Павел Родионович осторожно спускается по лестнице и медленно бредет незнакомой улицей, сосредоточенно ощупывая подошвами снег. Не дай Бог поскользнуться!

Сегодня Челышев полон любопытства к округе, к этому закудыкиному болоту, что, честное слово, ближе к Тьмутаракани, чем к Москве. Но почему-то эту местность влили в столицу и застроили разными — в крапинку и в шашечку, а то и просто серобелыми пяти-, девяти- и двенадцатизэтажными коробками. Где-то должна быть названная по-чеховски „Чайкой” прачечная, куда старик, дабы не обременять Марию Павловну, несет рубахи. Затем — парикмахерская и продуктовый магазин. На первый раз достаточно. Все-таки совершается нечто вроде реанимации — воскрешение из полумертвых.

Но в стеклянном зале прачечной — духота, жарница, очередь часа на полтора, а под конец приемщица нагло кричит, что метки на воротнике (Машенька стирала в сердцах!) вытерлись, и четыре рубашки из пяти швыряет обратно. В парикмахерской потная сиястая девица, разя чесноком и чем-то еще, намекает подружкам: мол, клиент „негодявый”. Небось, одни бритые и стрижка, а освежиться ни-ни...

„Действительно, морда у меня доисторическая, — с презрением смотрит старик в зеркало. — Слово по слабоумию побриться вспомнил, а помереть — забыл...”

Утомленный долгим обозрением своей внешне-

сти, Павел Родионович снова ползет по скользкому проспекту, который филоны-дворники и не думали посыпать песком. Страх сломать ноги переполняет старика, и он лишь чудом добирается до магазина.

В колбасном отделе хвост, в кондитерском — тоже, а в отгороженном винном закутке — давка, ругань: жадные трясущиеся руки суют через головы рубли и мелочь...

И снова скользкая улица, но теперь еще боязнь разбить бутылки и смять торт. Челышев не сладко-ежка и торт купил только как вызов Филиному рассказу о долгожительнице: мол, какие мы ни какие, а до мааразма нам далеко...

Однако он долго не может найти свой корпус. Как на грех, дома на его улице абсолютно одинаковые. Застрелявая на каждом полумарше, старик наконец взбирается на последний этаж, и такая прогулка ему тяжелей длинной войны.

— Гулена, — ласково укоряет отца Машенька, но по-прежнему на него не смотрит. „И мысли ее мимо меня...” — догадывается Павел Родионович.

Возвращается зять в новых челышевских ботинках. Он тоже сегодня странный, возбужденный, но не поймешь — от успеха или неудачи.

— Выяснил? — спрашивает Машенька. Токарев неопределенно пожимает плечами.

— Ладно, папа. Пока отдохни. Сегодня обедаем в большой комнате.

Старик вытягивается на широкой тахте. Сердце бьется чаще, чем даже осенью, когда дочь примчалась с телеграммой.

— Наверное, все же инфаркт... Проглядели эскулапы. На ногах перенес... — подражая интонации живчика Фили, шепчет старик.

„Не тушуйся, — отвечает непонятно откуда взявшийся палатный сосед. — Хуже, Пашка, не будет.

Все остальное, как говорили древние — холоймес... Ты любимую женщину потерял. Жену. И плюй на все. Вылезай на балкон и плюй хочешь — вниз, хочешь — вверх, потому что Бога все равно нету. Неужели Он тебя, дряхлого, беспомощного, оставил бы сиротой да еще запихнул бы в эту клетку, как в камеру?!.”

„Но меня переселили в лучшую комнату”.

„Обдурят. Глаза протри, а уши держи по стойке „мирно”, потому что такого, как ты, всегда перехитрят...”

„Значит, умер Филя...” — вдруг решает старик и, весь мокрый, задыхается в тесной комнатенке, где даже тахта не кажется ему своей. Душно. Несмотря на март, топят как черти. Сердце стучит, будто забытый мотористом движок — то вразнос, то запинаясь. Шелохнуться страшно... И голос куда-то пропал. Нету сил крикнуть, чтобы распахнули окно, а шепота, хоть стена аховая, днем не услышат.

Все-таки он оклемался, и спустя час, когда уселись вчетвером за довольно чистой скатертью, выпил две рюмки. Водка взбодрила, боль из загрудины ушла, и старику стало радостно, что наконец-то все собрались вместе, борщ какой-никакой, а горячий, со сметаной, и дочь налила ему первому, как в давно забытой жизни мать Любовь Симоновна — отцу, а Леокадия — Климу. В комнате не жарко. Несмотря на внучкин насморк, балконная дверь открыта.

Но вдруг Машенька, почернев лицом и мгновенно состарясь, бросает с надрывом:

— Папа, мы на нуле...

Глаз она уже не прячет, и они у нее затравленные.

— Маша, ну зачем так... сразу? — пытается унять ее Токарев.

— Ах брось... Не все равно, как начать... Короче, папа, денег у нас нет и занимать негде.

— Но ты сама сегодня мне отдала...

— Господи, ну при чем твоя пенсия? На что нам твоя пенсия?! Как будто деньги для нас что-то значат?! Да я бы с радостью голодала, было б только ради чего! А то сидим в дерьме по шею. Меня на работу не берут. Гришеку третий год статьи заворачивают, а его прозу даже показывать нельзя — посадят. И Светке никогда в институт не попасть. Словом, надо мотать отсюда. Поехали, папа!..

— Что-о?! — багровеет Павел Родионович.

— Ехать, папа, надо. Ехать... Больше здесь жить нельзя. Кончились иллюзии. Раньше мы с Гришеком думали: так ли, этак, а проживем тихо, без подлянки. Было такое время — чахлая хрущевская оттепель и года полтора после нее. Гришека печатали. Одну-две дошло-прогрессивных мысли он, как в солому, оборачивал в марксистские цитаты. Тошно ему было от этого нетто-брутто, но терпел. Надеялся, чудак, мол, работает в пользу демократии... А на самом деле его обводили вокруг пальца. И получалось, что Гр. Токарев служит дьяволовой власти, хотя и с оговорками. Но теперь в критике даже с оговорками работать нельзя. И хорошо, что нельзя! Мараться не надо. Помнишь, папа, ты бушевал, что я в „Науке и религии” нападала на Церковь? Правильно бушевал. Много я тогда понимала? А теперь хоть режь меня, хоть вешай, такого не напишу. Не берут меня на службу?! Прекрасно. Не буду больше продаваться! Хватит! Потому что жить здесь и не продаваться — нельзя! Мы уже все испробовали. Мучились, терпели, а все ж таки надеялись: чего-то добьемся — раздвинем рамки легальности. Жить станет легче, дышать свободней. Фига с два!.. Оказалось, мы просто сотрудничали с властью, под-

личали, как все... Но теперь все определилось: большинство откровенно служит за блага — за шмутки, за иностранные поездки и за все прочее, а меньшинство, нет, не меньшинство, а несколько десятков героев пошли в диссиденты... Так что нам надо ехать. Слава Богу выпускают. Неужели упустим шанс?! Поедем, очистимся, отмоемся... Раз в диссиденты идти не можем, надо уезжать. Одна я еще, пожалуй, подалась бы в инакомыслящие. Но какие они борцы?! — Мария Павловна со страхом смотрит на дочь и мужа. — Они для Лефортова не годятся. Едем, папа... Что поделаешь? Строили мы с тобой эту тюрьму, но ведь необязательно ждать, пока нас в нее посадят!..

— Какую тюрьму! — кричит старик. — Ах, стишки... Ну, с ними я в расчете. Тюрем, к сведению присутствующих, — он мрачно глядит на зятя, — я никогда не строил. И к шахтам уже семнадцать лет отношения не имею.

— А пенсию тебе платят?! — озлобляется Мария Павловна. — За что, интересно?! Я тебе скажу, за что. За то, что строил. Так что пенсию ты вполне заработал. Сто двадцать рубликов, один к одному!

— Но... — старик тут же спохватывается, понимая: Машенька только и ждет, чтобы он возразил: „Как же ты у меня брала такую пенсию?“, и тогда она вскинется: „Ах, попрекаешь!“, учинит скандал и отговаривать ее будет поздно.

— Успокойся, девочка. Ты раздражена. Потом поговорим... — бормочет старик, ничего более путного сказать не решаясь. Но в мыслях он не настолько придавлен дочерью и позволяет себе отбиваться: „Что за диктат — либо в диссиденты, либо в эмигранты? Либо прислуживать, либо бороться. Между этими „либо“ худо-бедно умещается четверть миллиарда советских граждан. Они не борцы,

но и не прихлебалы. Просто люди. Живут, притираются, как могут. Что за категорические императивы? Если и надо отмываться, то почему непременно за рубежом? Ты у нас была активная, ты здесь очищаться пробуй... А Светланку с такой учебкой нигде в институт не примут. Что же до Гришки..."

Но, не додумав о зяте, старик взрывается:

— Не понимаю, чем писателю плохо?! Сиди себе и пиши. Над головой не каплет.

— Но ведь не печатают, Пашет... Ничего не печатают... — краснеет зять.

— А как же другие? Вон этого — фамилию забыл — сколько издавали. И как будто не особенно потрафляет властям. Пишет о разных мелочах жизни и довольно похоже.

— Да что вы все как сговорились!?! — сердится Мария Павловна. — Нашли одного ханурика и тычете им в глаза. Ну, печатают его... Пока печатают. Но ведь он только тоску разводит. Ничего важного не говорит, все острые углы огибает. А долго ему ходить чистеньким? Он ушлый, осторожный. Под себя гребет. Кого-нибудь он хоть раз защитил?! Как же... Чуть услышит, что друга или товарища собираются вышвырнуть из Союза писателей, тут же улепечивает подальше. Другой бы на авиабилетах разорился. Но, помяни мое слово, этого храбреца скоро прищучат. Скоро его вымажут или он сам себя так обосрет, что любо-дорого будет на него глядеть. Нет, незамаренным здесь никто не останется.

— Ну что ж, допустим, о чисто литературных делах вы осведомлены лучше. Допустим, не подличая, печататься здесь трудно или даже невозможно. Но жить пока еще позволено. Разговаривать друг с другом не запрещено. В гости ходить и принимать друзей у себя не возбраняется. Мы и этого не могли. Я сорок лет рот раскрыть боялся. Словом переки-

нуться было не с кем. Разве, девочка, с твоим дедом...

— Ты, Пашет, особ статья... — улыбается зять, на всякий случай обходя упоминание о докторе Токаре.

— Не я один. Все боялись.

— Скоро опять заботятся, — предрекает Машенька, тоже не откликаясь на призыв вспомнить погибшего деда. — И что спорить? Можно удрать? значит, нужно удрать!

— Но ведь все не уедут! И какой толк в отъезде?! У французов есть поговорка: уехать — это немножко умереть. Женя вот уехала...

— Мы не французы, мы — евреи! — кричит Машенька.

„Ого, — удивляется сквозь свою печаль Челышев. — Это нечто новое! Этого я от нее еще не слышал. А как же бабка-полячка? Или кем ради отъезда не пожертвуешь?.. Тоже выискали спасение...”

— Не глумите, ребята, — говорит вслух. — Сами не заметите, как заиграетесь. Это так же опасно, как притворяться сумасшедшим. Редко кому такие игры сходили безболезненно. Поймите, ничему ваш отъезд не поможет. Все свое — беды, недуги, неурядицы — не оставите на таможене. Потащите на себе. А с кем за границей этим поделитесь? Да и что вы там станете делать? Вы здешние. Тут все ваше. Даже бестолковая ваша жизнь вся отсюда. Она, признаюсь, часто была мне не по душе, но, в конце концов, я с ней примирился. Все-таки во всем этом непотребстве, в пьяной болтовне что-то есть... Вокруг этого — на первый взгляд — безобразия что-то завязывается. Люди после долгой немоты, так ли, этак, учатся общению. Вот и меняется здешний духовный климат, — с улыбкой передвигает ударение Челышев, поскольку высокий стиль — не его стихия. —

Видишь, девочка, твой родитель все-таки понял вас. Правда, не сразу, почти у смертного порога, но понял. А кто за границей вас поймет? Они даже вашего языка не знают. Посмотрят и скажут: бездельники, безобразники, пьяницы. И пошлют вас подальше... К тому же у тамошнего народа своих бед выше головы. Так что побереги, Машенька, императивы. Даже Аденауэр был не столь категоричен. Помнишь, до стены, когда миллионы немцев бежали через метро, старый канцлер просил гедеэровских врачей не покидать советской зоны. Понимал: нельзя оставлять людей без медицинской помощи. А просто без помощи — можно? Вокруг вас, ребята, крутится бездна народу. Авось, что-нибудь и сварите. А не сварите — все равно от вашего жару что-то в воздухе переменится. Простите старика за красивые слова, но перестаньте дурить. Ведь отъезд — самая заурядная капитуляция. Признание, что родились и жили в своей стране — напрасно. К тому же это еще и самообман, а также чисто эгоистическое начинание. Другие ведь уехать не могут. Рязань, Казань, Алтай, Калугу и прочее народонаселение вы с собой не вывезете. Не может все это двинуться из России. И ничего ваш отъезд в этой стране не переменит. Бабы по-прежнему будут рожать, маяться с неслухами-детьми, изводиться на казенной и домашней работе, набираться слухов в очередях и драться с пьяными мужьями. А мужики будут неутоленно пить, лаять советскую власть, по-детски мечтать о несбыточном и тоже никуда не уедут. Я вовсе не считаю, что Россия должна раскрыть глаза закосневшему в грехах Западу. Но как бы там ни было, эта страна многое повидала, и своим отъездом вы ее не перечеркнете. Она и не заметит, что вы исчезли...

Но Мария Павловна не слышит отца и нервно твердит:

— Ехать, папа, надо. Ехать. Вызов на четверых. Покажи, — велит мужу.

— Вот, Пашет... Без очков разберешь? — робеет зять. Ему неловко, что разговор начат в лоб. Надо было тестя исподволь подготовить. Все-таки старый человек.

Челышеву не хочется подниматься за очешником. Держа на отлете три твердых иностранных бланка, он с удивлением узнает, что неизвестная ему Ребекка Блюм искренне заинтересована в его судьбе:

„Настоящим обращаюсь к соответствующим компетентным Советским Властям с убедительной просьбой о выдаче моим родственникам разрешения на выезд ко мне в Израиль на постоянное жительство.

После многих лет разлуки и всего пережитого велико наше общее желание объединить наши семьи и жить в дальнейшем неразлучно.

Я и моя семья материально хорошо обеспечены и обладаем всеми средствами для предоставления моим родным всего необходимого со дня их приезда к нам”.

— Впечатляет, — бормочет Челышев. Он расчувствовался. Еще бы!.. Чужая женщина, выдав себя за родню, не прочь позаботиться о старике. Он-то своим — Климу и Леокадии — ни разу не написал, и в Европе боялся с ними столкнуться... А эта Ребекка зовет к себе и предлагает помощь.

— Хорошая, видно, женщина, — говорит Челышев. — Неужели сядете ей на шею?

— Да это, Пашет, форма такая. Видишь, даже шрифт типографский... — зять краснеет.

— А я думал: всерьез...

Теперь старику стыдно, что на мгновение поверил, будто он кому-то нужен.

— Поедем, папа! Где наша ни пропадала! — сквозь слезы улыбается Машенька. — Посмотрим, как люди живут. Ведь ничего не видели...

„Когда она успела захмелеть? Глупая... — хочет он образумить дочку. — Бежать, да еще в Израиль! А там Гришка тебя бросит ради этой Ленусь или Ленки”.

— Девочка, ну что ты в Израиле потеряла, — бормочет старик, ощущая загрудинное жжение.

— Вы что, дед, их развести хотите? — настаивается внучка.

— Да мы, папа, не в Израиль! Неужели не понял? Мы — к Надьке... Пусть только попробует нам не помочь!

— Час от часу не легче... Ты в своем уме меня к ней тащить?! И не подумаю... Зачем бумагу испортили? — тычет старик в глянцевитые бланки. — Без меня вас не выпустят, а я не поеду. Зря себя раскрыли. Ведь это — фик-си-ру-ет-ся! — Он отталкивает от себя сколотые листки. — Почему ты такая невезучая? — с горечью смотрит на дочь. — Все у тебя впопыхах. Не спросясь, навлекла на себя новые неприятности. Ведь это — как *самодонос*.

— У нас есть еще... — мрачнеет зять, и старик убеждается, что гражданин Израиля Вениамин Шнейдер считает своими родственниками только Токаревых Григория и Светлану, а также Чельшеву Марию.

— Тогда в добрый час... — вздыхает Павел Родионович и за весь вечер не произносит ни слова. Новость переполнила старика, накачала обызвествленные сосуды и так раздула череп, что хоть стучи — никакого впечатления.

Приходит железнодорожник. Но Павел Родионо-

вич не замечает его и не слушает прожектов дочери, как бы исхитриться, чтобы Виктора прописали в этой квартире.

— Ничего не выйдет, — злорадствует зять. — Мы должны быть вне подозрений. А то придерутся, что жульничаем с жилплощадью.

— Но он — мой брат...

— Это безразлично.

— Я же велела выяснить! — раздражается Мария Павловна.

— А я узнавал насчет этих... — Токарев опасно перекладывает оба вызова со стола на подоконник подальше от шурина.

— А вы не едете? — пропуская, как всегда, имя-отчество, спрашивает старика викинг.

— П-шш-л... — очнувшись, сипит старик и снова куда-то пропадает.

— Опять, Машка, он базарит. Спросить нельзя?..

— Может, поедем? — обнимает брата Машенька. — Страшно тебя оставлять.

— А чего! Я не пропаду. Мне много не надо. В руководство не лезу, — ухмыляется викинг, забывшая, что даже не доучился в десятилетке. — Получу, Машка, твою хату, с меня и хватит. Вот у нас в поселке был чувак, деревня деревней, а тут встречаю его — уже начальник внешних сношений чего-то такого. Дают, говорит, ему хавиру в пять комнат, а он, понимаешь, не берет. Две ванны и два сортира хочет. Не могу, мол, с домработницей одними удобствами пользоваться. А я — мальчик не требовательный.

— Не получишь ты ни черта, — сердится Токарев.

— А ну вас всех! — кричит Мария Павловна и тут же плачет. — Иди, Витенька... Я что-нибудь придумаю. Я добьюсь. Иди. Голова трещит...

Слепому видно, что дочка на пределе, но старик и сам выдохся.

— Коматозное состояние. Ухожу в невесомость... — шепчет он и с трудом добирается до тахты.

„Отщепенство начинается с почтового ящика, — торопливо писал Токарев в распадающемся гроссбухе. — Ни календарей ЦДЛ, ни приглашений на концерты и сборища книголюбов, ничего. Раньше эту макулатуру, не проглядывая, отправлял в помойку, а теперь ее вроде как не хватает. Пашет же вообразил, что все у меня распрекрасно. Не верит, что бросать его, дряхлого, больного, мне вовсе не просто... Да и выпустят ли? Мы повисли между землей и небом.

Что будет, если влетим в отказ или нас продержат хотя бы год? А Пашет решил: захотели — уехали... Не поинтересовался даже, что случилось в Союзе писателей, когда я пришел за характеристикой для ОВИРа. А ведь они учинили надо мной всамделишную гражданскую казнь...

Возможно, когда-нибудь я об этом напишу роман или повесть, а пока несколько слов для памяти.

...Двадцать московских секретарей неистовствовали, кто как мог. Одни кричали, что я стал диссидентом и в этом нет ничего неожиданного. Они догадывались, что именно этим я кончу. Когда я пытался возражать, что никакой внелитературной деятельностью не занимался, другие секретари кивали: да, вы не диссидент, вы — антисоветчик. Недаром они давно не встречают моих статей. Поэтому, прежде чем выдавать мне характеристику, надо проверить, что я пишу. Возможно, я переправил на Запад клеветнические материалы.

Я отвечал, что по-прежнему занимаюсь критикой, а если меня не печатают, то виноват вовсе не я. Нет, вы, — возражали мне, — ваши статьи отвергают именно потому, что они антисоветские.

Третьи обзывали меня сионистом, так как бросаю страну, осуществившую братство народов, ради сомнительного шовинистического государства, в котором угнетают арабов. (Не мог же я им сказать, что еду в Америку. Они лопнули бы от зависти, хотя сами туда катаются по два раза в год!)

Четвертые, в основном прежние друзья-приятели, с кем выпил цистерну водки, угрюмо допрашивали, кто такой Вениамин Шнейдер. Что-то я прежде не упоминал о подобном родственничке. Детей от моих первых браков они знают, старика-тестя — тоже. Но дети и Машин отец остаются в Москве. Какое же, простите, это воссоединение семей?! Самое настоящее разъединение!.. (А я не мог им сказать, что еду к родной сестре.)

Пятые улюлюкали: пусть себе уезжает. Нисколько и не жалко. Выгоним *таких* (они даже не скрывали, что подразумевают евреев!) и воздух сразу очистится...

Шестые — это были секретари-евреи — особенно негодовали. Да как он смеет покидать родину!? Родину, которая его кормила, поила, воспитывала! Понимаю, — сказал один, — детство у Токарева было нелегким. Его отца необоснованно репрессировали. Но ведь партия решительно осудила культ Сталина, и отец Токарева посмертно прощен. К тому же сам Токарев никакой дискриминации не подвергался. Напротив. Еще недавно чуть ли не в каждом номере нашего лучшего журнала появлялась либо его статья, либо рецензия. Его печатали, на мой взгляд, даже чересчур охотно.

„Как же, — подумал я. — Ты ведь у меня в ногах валялся, умолял написать о тебе хотя бы страничку”.

Не знаю, антисоветчик ли Токарев, — закончил свою речь этот семит, — но утверждаю, что он явный предатель.

Следующий еврей сказал, что я недостаточно стоек и слишком обидчив. Подумаешь, не печатали?!. Надо было драться. В одном месте не взяли статью, носи в другое. У него тоже не брали повесть ни в „Москве”, ни в „Молодой гвардии”, ни в „Нашем современнике”. Но он не задрал кверху лапки. Он боролся. И вот теперь другой видный журнал (из суеверия он пока не назовет, какой) подписал с ним договор, а издательство „Советский писатель” включило повесть в план выпуска. Токарев же растерялся, обиделся и докатился до отщепенства и измены. (Подозреваю, что этот секретарь считал себя исключительно храбрым и достойным человеком. Еще бы! Он ведь прямо намекнул, что такие-то редакции не печатают евреев. А то, что он поклевал меня, так что ж... Все меня пинали, и к тому же я покидаю СССР. А ему тут жить и публиковаться.)

Словом, все двадцать мужчин и женщин выступили по разу, а кто и по два. Потом они дружно подняли руки, и первый секретарь объявил мне, что я единогласно исключен из Союза советских писателей. Характеристику же, сказал, перешлют в ОВИР, но даже не намекнул, что в ней напишут. (А мудрые головы говорят, что от характеристики как раз-то зависит, выпустят или нет. Но ведь судьбу не угадаешь...)

Так я стал отщепенцем и, что еще хуже, тунеядцем. Каждый день жду повестки из милиции: мол, устраивайтесь, гражданин Токарев, на работу, не то привлечем по статье... Поэтому пустой почтовый

ящик, пожалуй, даже радуется. Хотя участковый может явиться лично, если ему прикажут ползти на пятый этаж...”

Какая ни погода, старик торчит на балконе, но радио больше не слушает: без него есть о чем думать.

„Что я здесь потерял? — Он смотрит на почерневшую за зиму гору ящиков. — Это ли Россия? Правда, снег... Но его уже мало, а новый не выпадет до ноября. Снег — безусловно Россия... Хотя я его половину жизни почти и не видел. Какой в Малороссии снег? Вроде этого, весеннего...”

Направо и налево от ящиков сиротски лепятся к высоким панельным домам старые пятиэтажные „хрущобы”.

„Может быть, все-таки уедешь? — терзает себя старик. — Нет, не хочу. Пусть Гришка бежит. Закрутился, бедняга... Кидало его от надежды к безнадёжности, после XX съезда снова к надежде, а теперь у него впереди вовсе „зеро”. А мне зачем страгиваться? Я здешним никогда не очаровывался, поэтому в нем не обманулся. И до революции мне здесь не больно нравилось, а потом — и подавно. Когда Клим уходил с деникинцами, я уже видел, к чему все идет, и не ждал никакого всеобщего счастья. И после не ждал — ни когда Троцкий неистовствовал в бывшем купеческом клубе, ни когда я сам палил из парабеллума в день победы. А Машенька и Гришка вечно чего-то ожидали. Без ума очаровались Россией и так же, не подумав, проклинают ее теперь и рвут с ней напрочь. Не приучены к терпению. Сразу им подавай счастливую жизнь, или хотя бы надежду, что таковая вскорости наступит. Но как пообещаешь, если ничего веселого не брезжит? Привыкли ребята к оттепелям. А я, честно го-

воря, особенной теплыни как-то не заметил. Помоему, всю жизнь длилась одна зима. Вечно закутываться надо было, не распахиваться, а главное, не суетиться. Зимой ведь спешить некуда. Зима — время самопознания. А ребята метались и ничего толком не обдумали. В итоге у них — одни просчеты и провалы. Вот и напустились на меня: каменщик... каменщик... Как там дальше? Помню, не поленился, сходил в библиотеку, списал и выучил. „Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, тех он, кто нес кирпичи”. Это сын каменщика вспомнит, которого в ту тюрьму засунут. А отец, то есть сам каменщик, отвечает стихотворцу: „Эй, берегись! под лесами не балуй... Знаем все сами, молчи!”

Правильно отвечает. Молчи. И нечего обзывать... — Старик сердится, забывая, что каменщиком его окрестили не дочка с зятем, а Женя.

„Каменщик... А что было делать? Поскольку с Климом не ушел, только и оставалось, что строить — в прямом и в переносном смысле. А если уж я каменщик, то чего мне отсюда уезжать? Здесь строил, получу свой камень и под ним лягу. Нечего мне примазываться к другой державе. Там я не строил, доли моей в ее богатстве нету, и нехорошо побираться в чужом краю. К чему новое горе искать, когда старого по горло хватает?! Ребятам бросать неловко... Ничего, перебьются. Будто легче везти меня с собой? А до богадельни или крематория я уж как-нибудь дотащусь...”

Так старик сидел, не замечая капли, и хотя балконную дверь больше не закрывали, он был уже начисто отделен от всех семейных новостей, раздоров, примирений и новых скандалов, что у Токаре-

вых чередовались с удручающей последовательностью.

— Оглох он, что ли? — удивлялась Мария Павловна.

— Повредился... — Внучка крутила мизинцем у виска.

— Знаете, что? Давайте его женим, — предложил зять.

— Ну и чудик ты, папочка, — захихикала Светлана, но Мария Павловна стала тотчас перебирать возможных невест.

— Только надо деликатней, — сказал Токарев. — После Жеки ему не просто...

— Да катись ты со своей Жекой. Подумаешь, цаца! — закричала Машенька, но тут же испугалась, что услышит отец. — Прости, Гришек... Нервы. Обрывай меня, если что...

— Папа, тебе нельзя одному, — сказала она вечером, входя в отцовскую клетуху. Старик лежал. Мария Павловна села рядом, и он погладил ее по седой, давно некрашеной копне волос.

— Девочка, я в полном порядке. Никого мне не надо.

— Тогда поедем. Еще можно переиграть. Не хочешь зависеть от Надьки? Я выхлопочу тебе пенсию. В Америке с определенного возраста всем платят пособие, а ты к тому же воевал с фашизмом. Еврейские общины это ценят.

— Поедем, Пашет, — сказал зять. Он вошел незаметно. Худой, все еще красивый и по-юношески застенчивый, стоя, касался головой притолоки.

— Нет...

— Но почему?

— Здесь помирать проще.

— Да ты всех нас переживешь, — улыбнулся Токарев. — Но если даже... то ведь там — рядом с Жемой...

— Уйдите. — Старик отвернулся, и дочь, немного подождав, вышла вслед за мужем.

Что написал в ОВИР писательский секретариат, осталось тайной, однако разрешение Токаревы получили. Правда, на сборы им дали всего десять суток. Начались кавардак и спешка. Летний день мешался с короткой ночью, а входная дверь не закрывалась, как при покойнике. Проходную комнату завалили всевозможными чемоданами — новыми, синтетической кожи, купленными в долг, и старыми, дышащими на ладан, так называемыми еврейскими, поскольку выдерживают поездку лишь в одну сторону, а также ящиками, корзинами, картонными коробками, узлами и просто не упакованным еще барахлом.

— Куда вы столько?

— Это же курам на смех!

— Ради Бога, не увлекайтесь!

— Только минимум-миниморум, — советовали знакомые.

— Правда, Маша, перебарщиваем. Надька нам все необходимое предоставит, — урезонивал жену Токарев.

— Гроб она нам предоставит, — огрызалась Машенька.

На балкон трудно было пробраться, а в комнате Чельшева тоже паковались. Поэтому он пристраивался где-нибудь в углу и на все вопросы бормотал нечто невнятное. Со стороны казалось, что старик выжил из ума или пребывает в прострации.

— Знаешь, я поняла, почему отец не согласился, —

шепнула Мария Павловна мужу. — Он оберегает свои воспоминания.

— Вряд ли... Вспоминать можно и за границей.

— Но он там никогда не был. Он весь отсюда. Его память накопила только здешние впечатления. Все его мысли, страхи, даже бредни не годятся на экспорт.

— И здесь его, можно считать, тоже не было... Он вечно стоял в стороне, ни во что не ввязывался. А теперь даже на улицу не выходит. По-моему, все гораздо проще: мы с тобой в глубине души надеемся вернуться, а он этого уже не просчитывает. Для него — „другой не будет никогда”, — помрачнел Григорий Яковлевич, вспомнив ночь отъезда из Сибири, Надькину гитару и Жеку, еще совсем юную, даже моложе Ленусь.

— Не то, не то, — упрямылась Мария Павловна. — Папа семьдесят — или сколько ему? — лет прожил здесь, и все здешнее творилось при нем. Здесь он жил подневольным, как вы с Женькой его прозвали, каменщиком. Здесь забивался в нору. Но *здесь!* И теперь он все — и то, что прожил, и то, что нынче творится, — обмозговывает. А чем ему в Америке заняться? Там никто его не поймет, и он — что ему куда важнее! — никого и ничего не поймет. Там у него отнимут последнее — память и угрызения совести. А что дадут взамен? Шмутки? Лучшие удобства? Географические впечатления? Они ему безразличны. Нет, в Америке его никогда не было и делать ему там нечего.

— Но и нас там не было.

— То-то и плохо. Не было — значит, не будет. Боюсь, Гришек, все зря. Зря, — повторила Мария Павловна, взглянула на мужа и, вместо того, чтобы разрыдаться, холодно отвернулась.

„Мы едем на чужой счет, — уже не в гроссбухе, а на случайно подвернувшемся листке наспех писал Григорий Яковлевич. — Лена дралась с дружинниками, когда они ее выволакивали из Центрального телеграфа. Еврейские ребята держали голодовки, пробирались в приемные Верховного совета, МВД, ЦК и вот пробили брешь. Благодаря им я выезжаю из России, и даже не в Израиль. Выходит, я просто-напросто захребетник. А ведь я — русский писатель, человек совести. Я пытался срастись с Россией, я болел за нее душой, но вдруг понял: я ей не нужен. И подался за океан. Смешно и глупо... Что я знаю о той стране? Кому я нужен там, кроме Надьки? Да и Надьке уже вряд ли...

Маша права: мы жили здесь, а там нас не было. Когда под пятьдесят, не начинают жить заново. Пашет тоже прав: отъезд смахивает на капитуляцию. Жил, страдал, надеялся и все перечеркнул одним махом...

Можно, разумеется, заняться само-психо-терапией, убедить себя: мол, еду в Америку бороться за свободную Россию. Дескать, организую там журнал и вытаску русскую литературу из подполья на свет Божий. Но ведь никакой я не борец и не организатор. Укатала меня здешняя жизнь, а к тамошней я уже не годен.

„Два чувства равно близки нам”, — писал Пушкин. — „Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам”. Праха отца я, разумеется, не искал, но к матери вскоре после войны поехал. Тетя Сусанна помогла. Еще ходили „пятьсот веселые” составы, то есть те же теплушки, в которых мы убегали от немцев. Прямо с вокзала я отправился на еврейское кладбище, но от него ничего не осталось. Рядом строили завод, и неясно было, кто своротил кирпичный забор и уничтожил памятни-

ки — немцы, местные жители или строительные бульдозеры.

Часа четыре я ползал по бывшему погосту, пока не нашел несколько кусков мрамора с почерневшими буквами „О”, „Р”, „А” и „Б”. Составляли ли они прежде „ДОРА ТОКАРЬ” — не знаю. В тот же день я уехал и больше в том городе не появлялся. Сегодня он раза в три больше довоенного. А мраморные осколки затерялись при многочисленных переездах...

Итак, либо неправ Пушкин, либо я выродок, потому что мне горько оставлять здесь не гробы и не пепелища, а что-то иное, чего даже выразить не могу... Мне жаль не того, что покидаю, а того, что здесь наступит и пройдет без меня. Помню, сокурсники-инвалиды жаловались, что ноют оторванные ноги. А как быть с душой? Протезом ее не заменишь! Некоторые хорохорятся: уедем и тут же забудем эту страну. А со мной, заранее знаю, все будет иначе. Весь останусь тут. Думать буду только о здешнем. Каждого приезжающего стану умолять: расскажи, как там?! Кто что думает, делает, пишет? На последние центы буду покупать „Правду”, которую годами не разворачиваю, или разрыдаюсь над пустяковой рецензушкой в „Литературной газете”. И затоскую по очередям за водкой, по долготу и бестолковому русскому застолью, по пьяным в пустых электричках, и, наверное, никогда до конца не разберусь, почему уехал...”

Но вот визы выкуплены! (Заимодавцы, не тревожьтесь! Надька так ли, этак вас отблагодарит!) Вещи упакованы и свезены на тамождню. Аттестат зрелости без всяких экзаменов, к великой радости Светланки, получен. Остался последний вечер — проводы.

Народу набилось больше, чем год назад на поминки. Гость стоял стеной, и старик надеялся в тесноте затеряться. Но среди новых токаревских друзей-отказников, которых мурьжат по несколько лет, и среди тех, кто недавно подал или раздумывает по-давать или повременить, сновали бывшие приятели. Они надирались и скандалили. Особенно неистовствовал гривастый, который некогда обещал снять печаль с души старика. Теперь, обнимая и тряся Челышева, он кричал: мол, Павел Родионович — истинный русский мужик и поэтому остается. А те, кто бежит, — крысы, хотя Россия никогда не потонет. И вообще не по-христиански бросать одинокого беспомощного старца...

Еще тормозили Павла Родионовича бой-баба и другие подруги Жени, обещая всяческую поддержку — кто от чистого сердца, а кто от возвышенности минуты или лишней рюмки. Когда же он все-таки отбил от них и протиснулся в кухню, ему снова не повезло. Там, обхватив сестру здоровенными ручищами, белугой ревел железнодорожник Витька, а его немолодая, загородного вида супруга дубасила викинга по широченной спине.

...Все-таки к ночи гость стал редеть. Часам к трем ушли последние. Но ложиться было поздно. Светланка прикорнула, не раздеваясь, а Машенька с зятем бесцельно слонялись по квартире, такие вымотанные, что не могли подмести пол. А может быть, из суеверия не хотели.

— Папа, ты замучился. Не провожай нас. Ложись, — вздохнула Мария Павловна. — Я попросила дворничиху. Она все здесь приберет.

— Правда, Пашет, не стоит. Из Шереметьева тяжело добираться, — сказал и тут же смутился Токарев. Получалось, будто он суеверно боится за себя и своих. Мол, провожал Пашет Женю, а что вышло...

— Хорошо, не поеду, — кивнул старик.

Зазвонил будильник, вскочила внучка. Начались объятия, крики, слезы, суматошные поцелуи... Но вот захлопнулась дверь, и Чельшев остался один. Он прошелся по квартире и, не поверив в мифическую дворничиху, принялся за уборку. Все равно, мети — не мети, Токаревы не вернуться. Работы хватило до самого вечера.

Потом, не боясь Машиных нареканий, он забрался под душ, пустил его до отказа, но вдруг почувствовал себя худо и еле добрал до тахты. Отлежавшись, он решил сменить постельное белье, но оставшиеся в стенном шкафу простыни оказались в дырках. Павел Родионович подумал, что проворочается на них до утра, однако уснул тотчас.

В эту ночь старику приснился Клим. Он снова надел рясу и стал неправдоподобно огромным, каким казался Пашке Чельшеву только в далеком детстве. Но борода у Клима была не рыжая, а сплошь седая, словно у самого Господа Бога. Где стоял дядька — в помещении или под открытым небом — тоже осталось неясным. Клим был какой-то на себя не похожий. Впрочем, старик не стал слишком допытываться, дядька родной перед ним или не дядька.

— Худо мне, Климентий Симонович, — сказал старик. — Видишь, ни к чему не пришел... Скверно свой век прожил... И, кажется, не подличал, не ловчил, никого локтями не распахивал. Ни в какое начальство не лез. Напротив, из норы, можно сказать, не высывался. А Жене, жене моей, со мной было скучно, тошно, и ребята окрестили меня каменщиком и, видишь, бросили. Не знаю, у них самих выйдет что... Уже немолодые.

— Не выйдет, — сказал Клим.

— И у меня не вышло... Что за собачья жизнь? Все несчастны. Может, стоило уйти с тобой, когда мальчишкой был?..

— Но-но... Не спеши. Старый, а торопишься. Скулишь и обижаешься, как дите, — загудел Клим. — Ну, назвали каменщиком — велика обида? А что было делать, если окромя тюрьмы ничего не строили? На полу, что ли, валяться? И что со мной не ушел — тоже хорошо. Человеку жить надо дома и помирать опять-таки не в гостях. Хотя и дома, и в гостях — к одному пристанем...

— К смерти с большой буквы да еще в разрядку? — обрадовался Чельшев, потому что дядька как-то уж чересчур легко расправился с „каменщиком”.

— Верно, — засмеялся Клим. — К С М Е Р Т И И К Б О Г У ...

— Ты что, Климентий Симонович, вернулся в Церковь?

— Вернулся.

— А зачем? Не мог разве с Господом беседовать через фортку?

— Мог, да слабый я. Жизнь мою, Пашка, прожить — это не поле, а целое море перейти. Так что мне без Церкви все равно, что одному в плоскодонке по бурным волнам пускаться. А Церковь — Она, словно океанский пароход, где у каждого своя каюта.

— Разного класса? — усмехнулся Чельшев.

— Все дерзишь? Старый, а не унимаешься?.. Ну, ошибся: не корабль, а большой плот, где уж в точности все равноприближены.

— Кроме тех, что с краю...

— Ох, приberi тебя лукавый! На краю плота всегда самые смелые, те, в ком веры больше.

— Вроде тебя, расстриги, что сорвался, а не потонул?

— А хоть бы и так... Отстал я, а все же воротился. Вот мне и рады. Блудный сын дороже неблудного.

— Значит, и меня примут? — спросил Павел Родионович.

— Не сомневайся. Там по доброте всех берут. Но ты, Пашка, не блудный. Ты просто дурень. Через фортку или с балкона разговаривать с Богом захотел. И то, когда в жилах зябкость образовалась и косточки гнуться перестали. Много вас, хитрых, в самом конце, за минуту до отбоя, воротиться спешат. Ответь, как на духу: от лени через фортку молиться решил или ноги до храма не донесут?

— И ноги... и неловко... С чего это вдруг напоследок прибегу? Стыдно.

— Стыдно — это хорошо. Христос с тобой, давай через фортку. А лучше бы — через кого из наших. Мы сами грешные и тебя, шкодливого, пойдем. На общем плоту за тобой присмотрим.

„Наверное, Леокадия ему рассказала”, — пугается старик.

— Не трясись, Пашка, Господь всемогущ и добр. Он тебя и всех тебе подобных распускает как бы на каникулы. Знает, что, как в школу первого сентября, прибежите.

— А нет — силой приведет?

— Да на кой Господу тебя тащить, если ты сам к Нему бежишь, хоть и через фортку.

— А что мне будет?.. Там смола у вас или что?..

— А ничего. Ничего не будет. Хватит с тебя. Настродался. Теперь отдохнешь. Понял?

— Понял... — шепчет старик и просыпается.

Клима нет. В комнате пусто.

— Поблазнило... Подразнил — умрешь, мол, легко и просто... — сердится старик и обреченно

глядит в окно, в белесый, почти парной туман, который обещает боль в затылке, жжение за грудиной и неутоленные муки все еще живой совести.

1974-1978 гг.

ТОГО ЖЕ АВТОРА

ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ

Повесть

в журнале „Грани” № 94, 1974 г.

БЕЗ РУК БЕЗ НОГ

Повесть

в журнале „Континент”
№1, 1974 г. и № 2, 1975 г.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Роман

Изд. „Посев”, 1976, 572 с.

РЫЖИКАН

Повесть

в журнале „Грани” № 100, 1976 г.